НИНА МОЛЕВА



ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛИССИМУС

Нина Михайловна Молева — профессор, доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, член Союза писателей СССР и РФ, член Союза художников СССР, член Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.

РОМАН

Патриарший след

Частенько князю Федору Юрьевичу Ромодановскому толковать с будущим государем Петром Алексеевичем доводилось. Частенько...

— Не говорил батюшка, николи не говорил, что у них с великим государем Филаретом вышло: пря ли какая, обида. Дед крутенек был нравом, да ведь не при государе норов свой тешить станешь. Разве о чем без слов догадается.

Сам приметил: не величали государя Филарета киром. Не было такого в обычае. Обиду будто он в себе таил. Великую обиду. Что сын державный ни скажет, все оговорит, по своему разуму переделает. Великая Старица деду благоволила, а Филарет и слышать о Ромодановских не желал. Сидели бы безысходно в Льялове, никто бы при дворе и не вспомнил. Оно, может, и к лучшему — тишь, благодать, сам себе хозяин. Только гордость ведь у каждого есть: ее-то, поди, уговори. Не выйдет!

Вся надежда — новый государь. От нового патриарха, что в год Азова поставлен был, перемен не ждали: тише воды, ниже травы перед царем стелился.

А как оно вышло? Государь Петр Алексеевич проходу не давал: расскажи да расскажи. Сам своей волей за книги не садился, да и рассказ на ходу больше слушал.

Что ж, государь Михаил Федорович долго не пожил: до полувека не дотянул. Родился в июне 1596-го, а 13 июля 1645-го долго жить приказал. С 14 июля, на следующий же день, на престол вступил Алексей Михайлович.

Сколько спорить с Петром Алексеевичем приходилось. Всем по Европам разъезжаться велел. Деньги немереные на образование тратил, чтобы знатоками разными обратно возвращались, на все бы своими мастерами обзаводиться. Не один раз толковать ему принимался:

— Ремесло какое за год-другой не превзойдешь. Люди с пеленок

Журнальный вариант.

одолевают, да и то — одному наука впрок да в разум, с другого — что с гуся вода. Я им покажу гуся, — хохотал.

— Про инженерное дело и толковать нечего. Сколько лет пройдет, сколько учителей подчас сменить надобно, пока до ума дойдешь. Опять же какой кому разум от Господа даден. Мыслимое ли дело всех недорослей под одну гребенку стричь.

Опять Петр Алексеевич в смех. Так зальется, что иной раз слезы из глаз градом. Побагровеет весь:

— Не смеши, Федор Юрьевич, слышь, не смеши! Что — когда бревно тешут, щепы мало летит? Вот и считай наших недорослей ровно щепу. Наберутся ума — не наберутся, а все образуются на европейский лад. Ино нам с тобой прибыль.

Иной раз сорвешься:

— Да ведь не грех поначалу и по-нашему образоваться.

Сразу отмахивался:

— Долгая песня!

— Послушай хоть, как батюшку твоего сызмальства учили.

— Это еще к чему? А впрочем, говори.

— Долго, государь Петр Алексеевич, дедушке твоему, приснопамятному царю нашему Михаилу Федоровичу, наследника ждать пришлось.

— Как это долго?

— А так. Сам посчитай. В 1613-м государь Михаил Федорович согласился державу принять. Ему бы в одночасье и жениться. Ан нет, такие кругом распри пошли, что и не распутаешь. Пока это великий государь Филарет свое благословение Евдокии Стрешневой дал.

— Почему ей? Род-то незнатный. Собой, что ли, хороша была?

— Полно тебе, государь, шутить. Значит, расчет такой вышел. Да только снова незадача: нет первенца. Царевны идут одна за одной, а наследника нету.

— А детей-то много?

— Благословил Господь чадородием царицу Евдокию. На первых порах на свет появилась царевна Ирина Михайловна. Ее Великая Старица пуще родного дитяти любила. В кельи свои забрала. На час один не расставалася. Сказывали все с Мастерской палаты требовала материалов разных: кукол мастерить.

— Своя семья не задалась?

— Верно, государь. Сказывали, очень и по супругу бывшему тосковала. Все об одежке его заботилась, пуховички да подушки лебяжьего пуху посылала.

— Навещал ее дед?

— Упаси Господи! Никогда. И в мыслях, видно, такого не держал. За Ириной Пелагея пришла, да не зажилась — не судьба. Только в 1629-м, на 19 марта, долгожданный наследник объявился.

— Поди, тоже бабка забрала.

— Ни-ни. Его мамам, по обычаю, отдали. До пяти лет у них на руках рос.

— Чему ж царское дитя научить могли? Глупость одна.

— Прости, государь, на неучтивом слове, но только с чего ты взял, будто одни дураки до нас с тобой жили, а не умные люди?

— Опять за старую песню принялся!

— Старая, не старая — дедовская да прадедовская.

— А я что говорю! Вся Европа давно иначе жить стала.

— А по-нашему когда жила?

— И слава Богу!

— Опомнись, государь. Кругом оглядись: ихние границы да наши! Чьи больше?

— Наши, наши, сам знаешь.

— Вот и толкую: призадуматься надобно, что плохо, а что и куда как хорошо у нас-то было.

— Проповеди тебе, Федор Юрьевич, возглашать, вот что тебе скажу.

— Не мои проповеди, государь. От здравого смысла они.

— И платье наше — ходи в полах путайся — тоже от здравого смысла?

— Так никто за старое платье и не держался.

— Как это?

— А так, Петр Алексеевич. Дослушай ты меня Христа ради. Как поступать станешь — твое государево дело, а к сведению-то почему не принять.

— Ой, настырный ты, князь, сил моих с тобой нету.

— Как хочешь, государь, обзывай, твое право, а слово молвить разреши.

— Да говори же, говори и отвяжись, наконец!

— Так считалось: до пяти младенец расти должен, головку свою ничем не забивать, как цветок на грядке. Тут уж за твоего батюшку боярин Борис Иванович Морозов принялся. И тебе также досталося, и мне, грешному. Грамота по букварю, а дальше чтение часовника, псалтыри. Боярин Борис Иванович еще для государя наследника за нужное почел Деяния святых апостолов пройти.

— Одно церковное.

— А как же иначе, государь. Сам рассуди, тут все вместе: и грамота, и основы веры нашей. Дитя, сам того не зная, основы веры познает.

— И письмо тоже?

— А вот и нет. Это тебя Никита Моисеевич грамоте учить да письму рано принялся, а государя Алексея Михайловича боярин Морозов только семи годков за писание посадил.

— По мне, прав Никита Зотов.

— Может, и прав, вот только покуда дитя чтению учится, слова-то запоминает. К письменам приступит — ошибаться в них не станет.

— Так полагаешь?

— Ты в этом, Петр Алексеевич, моим мыслям весу не придавай. Не учитель я — могу и неправым быть.

— Сколько ж на грамоту отводилось?

— Еще два года. А там, как десятый годок пойдет, к пению приступали. К грамоте музыкальной. Не то что покойный батюшка твой особо пение любил, а толк в нем знал. Без того — какое образование?

— Вот и я с Андреем Нижегородцем все псалмы разбирал. Помнится, говаривал он, что мне и на клиросе петь можно.

— Еще бы не можно. Голос у тебя, государь, славный. Да и прилежание ты только к церковному пению, прости на честном слове, и имеешь.

— Верно. С певчими мне никогда скучно не бывает. А у батюшки что дальше было?

— А вот как одиннадцати годков государь Алексей Михайлович достиг, тут ему воля пришла. Чем хочешь, тем и занимайся. У царевича к тому времени библиотека своя образовалася, да еще какая. Иноземные гости диву давались. И лексиконы всякие, и грамматики, и изданная в Литве Космография.

— Верно ли? Что ж раньше не говорил?

— Случаю не было, государь.

— Случаю! И матушка государыня ничего не говорила.

— А царице-то, сам посуди, откудова знать. То государь в одиннадцать-двенадцать годков, а то в сорокалетний-то век, когда царицей во дворец вступила.

— Где ж книги-то государь батюшка держал — в палате особой или как?

— Сам не видал, только что по рассказам знаю. Все стены в палатах царевича немецкими картами да гравюрами увешаны были. Музыкальных инструментов несколько — играл на них государь покойный славно. Учителей особых имел — дедушка твой ни в чем наследнику не препятствовал. Напротив.

— Надо же! А я не умею. Да мне ратное дело куда более по сердцу.

— А ты что думаешь, у государя наследника в палатах же и латы немецкого дела находилися — мерить их любил. Боярин Борис Иванович всех детей царских к тому времени в платье немецкое одел.

— В немецкое платье! Врешь, Федор Юрьевич! Все врешь! А потом что — как на престол батюшка взошел, так и платье иноземное запретил?

— Врать тебе николи не врал и врать не буду. Поди, коли охота, в Мастерской палате погляди: вся рухлядь царская там хранится в целости и сохранности. Сам убедишься.

— А народу его так в немецком платье и объявили?

— Объявили покойного твоего государя батюшку народу как положено, в платье большого выхода. Обычаи, Петр Алексеевич, блюли, народ в сумнение не вводили. А было тогда государю Алексею Михайловичу всего-то тринадцать лет.

— Поторопились.

— Да как сказать. В делах государственных счет иной. Сам рассуди. У государя Михаила Федоровича к тому времени десятеро деток родилось: Ирина, Пелагея, царевич наследник Алексей Михайлович, Анна, Марфа, Иоанн, Софья, Татьяна, Евдокия. Последним — Василием — государыня царица Евдокия Лукьяновна скончалася, да и сам царевич не выжил. Оно и выходит: сыновей трое, а в живых один. Тут уж, хошь не хошь, поостеречься надобно.

— Выходит, два сына прибрались.

— Да царевен четыре. Отцовскому сердцу куда как нелегко, а для державы и вовсе опасно.

— А после объявления батюшки наследником сколько времени до вступления его на престол прошло?

— Двух лет не набежало. На шестнадцатом году государь Алексей Михайлович на царство венчался.

— Почти как прадед.

— Почти. Только тяжко все молодому государю досталося. Куда как тяжко. От своего батюшки знаю — на государевых похоронах в карауле стоял. Месяца не прошло — на царицыных.

— Выходит, батюшка в одночасье обоих родителей схоронил?

— Говорили, не пережила царица Евдокия Лукьяновна супруга. Так по нем убивалася, что как есть слезами изошла. Сколько раз замертво падала. Вот тогда-то покойный государь Алексей Михайлович обет дал: сколько ни будет у него детей, всех именами умерших сестер да братьев назвать, чтобы в детках его жизнь свою прожили.

— Своих детей... Так и сделал?

— А как же: царевны Марфа, Софья, Евдокия, царевич Иоанн Алексеевич...

— А ты, Федор Юрьевич, в приметы веришь? Для меня, все суеверия — от необразованности нашей великой.

— Верю ли...

— Значит, веришь! Веришь, Федор Юрьевич!

— Знаешь, государь, что мне на память пришло? Как тело Самозванца на Красную площадь вывезли да на Лобное место для всеобщего обозрения положили. Так вот, когда его на позорную телегу грузить стали — за Москву для сожжения везти, пала вся крыша Спасских ворот. В мгновение одно рухнула, а от такой приметы, всяк тебе скажет, жди беды. Большой беды. Толковали, за несправедливость...

Это уж когда с государем Петром Алексеевичем разговор состоялся. А в те давние годы надежда у Ромодановских зародилась: может, при молодом государе в гору пойдут да из забвения наконец-то выйдут.

Где там! При чем тут молодой государь? Как при Михаиле Федоровиче все дела в руки Салтыковых да Великой Старицы перешли, так и после кончины Михаила Федоровича не наследник — молод еще слиш-

ком! — а дядька его боярин Борис Иванович Морозов править стал. Всех наперечет знал, о своих только и думал.

С бунта все началось. Да какого! Чуть не по всем городам русским — денег, вишь, правителям мало в казне показалося. Дела никакого еще не сделали, а уж народу пошлину на соль повысили. А тут еще злоупотребления всяческие Ивана Даниловича Милославского известны стали.

Не разобрался молодой государь. Одно у него на уме тогда было — свадьбу сыграть, царицу себе во дворец привести. Смотрины устроили. Девиц со всех городов навезли. А все от страха. Уж тогда понял: положиться на одну супругу можно. Верности советчиков верить перестал.

Сказывали, государя Ивана Васильевича Грозного вспоминал. Про детство его, про свадьбу. Посмеивался: мол, на тот же 47-й год приходится, только ста годами позже.

Радовался очень, когда избранницу нашел — дочь касимовского помещика Руфа Всеволожского. Того не рассчитал, что дядька рядом. Себе на уме. Хитрый. Ловкий.

Невесту и в терем ввели. И величать, по обычаю, царевной стали. А как один раз наряжать стали, она в беспамятство впала. Дядька в крик: порченую подсунули. Что невесту, что всех родичей ее — в ссылку.

Не поверил государь в порчу, да делать нечего. Задним числом от соглядатаев прознал: теремные боярыни как косу невесте заплетать стали, волосья-то перетянули. Девица от боли чувств и лишилась. Знал Борис Иванович, кому что приказать, как любое дело сладить.

Не понял боярин Морозов, что меру перебрал. Догадался государь в свои шестнадцать лет. Смирился, а старику не простил: больно за сердце его касимовская девица взяла.

По виду и не серчал вовсе. Дело у него новое завелось — очень им занимался. В Даниловских сараях, что у монастыря, печь немецкую обжигальную для кирпича распорядился соорудить, немцев-мастеров при ней обустроить. Строить Москву думал. Сам под монастырь ездил. С мастерами толковал. Из саксонцев они, так что на ляцком языке обо всем договорились. Любил государь Алексей Михайлович языком ляхов побаловаться: книги ихние читал, в письме сведущ был.

Тут дядька быстренько новую невесту государю представил. Из своих свойственников — Марью Ильичну Милославскую. Скрыл, что пятью годами супруга старше будет. Посчитал — может, крепче к себе привяжет.

Да и сам не будь промах — на сестрице царицыной женился — даром, что в деды ей годился.

16 января 1648-го царскую свадьбу сыграли. 25 мая новый бунт поднялся, да еще какой! Москвичи потребовали от государя Бориса Ивановича на суд и расправу, как при Иване Грозном, родного дядьку государева — князя Юрия Глинского.

Дом боярский дотла очистили, разграбили. Окольничего Плещеева да дьяка Чистого смертно зашибли. Никаким царским обещаниям веры не давали.

И то сказать, какой из боярина Бориса Ивановича правитель государственный? Кто бы без соли прожить сумел, так запонадобилось ему в полтора раза пошлину на нее увеличить. Государь все москвичам пообещал, а сам исхитрился дядьку своего потиху в Кирилло-Белозерский монастырь отправить. Благо, дело на лето пришлось: и путь короче, и следов никаких.

Батюшка с охраной царского дядьки ездил. Скорехонько с ним и обратно приехал. Да старику от того невелика прибыль. Охладел к нему государь, да еще к тому же подружился с архимандритом Новоспасского монастыря Никоном. Думать стал, как его возвысить да к себе приблизить. На первых порах иерусалимский патриарх Паисий, что в те поры в Москве на Кирилловском подворье жил, милостей всяческих от москов-

ского государя добивался, грамоту написал о доставлении Никона в митрополиты Великого Новгорода — честь куда какая немалая.

Вернуться Борис Иванович вернулся, а дружбе былой, понял, конец настал. Все его советы — звук пустой для государя. Кто при дворе оставался, сразу поняли: увидят еще митрополита Никона, всенепременно увидят.

Особенность такую в царском обиходе приметили. Во все посты по понедельникам, средам да пятницам государь больше ни есть, ни пить не стал. Одним духом святым жив. С тех пор суров к себе стал, куда как суров. Никон знал, как наставления пастырские давать, как под свою руку людей подводить. Где уж там было государю Алексею Михайловичу такому противостоять. Смирился духом.

Нищих верховых у себя в теремах поселил, старых стариков — ради спасения души и благочестивых бесед.

Первенец государев в срок родился. Родителей своих не заставил ждать. В октябре того же года. А веку ему Господь не дал. Всего-то несколько месяцев протянул — как свечечку тоненькую ветром задуло.

Разговоры по Москве пошли: все от имени, Дмитрием нарекли. Имя для царственного семейства несчастливое. Иван Васильевич Грозный первенца своего с именем таким потерял — никто толком и не знал, как такое несчастье приключиться и могло.

Строго-настрого велено было молчать об обстоятельствах кончины. То ли болезнью какой кончился, то ли мамка нерадивая из рук в Шексну упустила. Верно одно: уехали царь с царицей — дитя ненаглядное на руках имели, вернулись одни-одинешеньки.

Господь ведает, почему Иван Васильевич и последнего своего сына, от царицы Марьи Нагой, еще раз Дмитрием окрестил. Царевич Дмитрий...

Отступиться бы государю, ан нет: на своем настоял. Или присоветовать было некому. О Никоне все время думал, да далека до митрополита дорога.

Довелось батюшке в никоновских владениях побывать. Митрополит не успел до епархии своей доехать, уже задумал обитель закладывать да строить. Монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери.

В 1652-м на озере Валдай строительство началось. Это уж много позже Павел Алеппский писал: «Никон своими стараниями воздвиг близ города Новгорода новый монастырь среди острова на великолепном, превосходном озере, соперничая в этом с постройками царских мастеров... Поистине нет ему подобного в мире, и в будущем оно станет примером всем векам».

Шел Никон к митрополичьему столу, теперь заспешил к патриаршему. Правильно рассчитал: не такой у государя крепкий характер, чтобы вечную дружбу да расположение хранить. Да и кто на такое способен!

Что ни делал в своей епархии, все в те поры государю по сердцу было. И что строить принялся, и как мятежников новгородских в марте 1650-го к рукам прибрал. Крут был нравом, куда как крут.

Во всем ему государь доверять стал. Так 25 июля 1652 года и посвятили митрополита в патриархи.

Опять слухи по Москве поползли. Больно все схоже с государем Михаилом Федоровичем и патриархом Филаретом получалося. Выходит, не может московский царь без царя церковного. Да Филарет-то отцом родным государю приходился, а тут мужик волжский простой. Из грязи — да в князи.

Знал ли Никон о толках московских, нет ли, только виду не подавал. Должен был знать: целый штат соглядатаев держал, денег на них не жалел.

Другое знал: государь в походы рвался, к делам военным душой прилежал. Кому ж, как не собинному другу, семью да столицу поручать. Нет государя в первопрестольной, значит, на престоле кир Никон, и уж тут никто ему не указ. Во всем патриаршия рука, патриаршие правление.

Вот так и довелось Петру Алексеевичу всю историю семейную толковать. Давненько то было. А нынче на старости лет и свою припомнить не грех.

Что там была милость государя Михаила Федоровича по сравнению с немилостью великого государя Филарета! Государь-сын разве что вздыхал да от объяснений с государем-отцом уклонялся. За примерами среди свойственников одних далеко ходить не приходилось.

Еще при государе Иване Васильевиче Грозном выделиться сумел помещик не из богатых Игнатий Никитич Зубов, сын Никиты, по прозвищу Ширяя. Смоленским корпусом ведал, как Иван Григорьевич Суворов — съезжей избой Преображенского полка. Сам был из местных, смоленских. А уж сыновей сумел служилыми дворянами по Московскому списку записать.

Трое у него было, а самый главный — Матвей, потому что дворецким при великом государе Филарете служил. Так и братьям воеводские должности охлопотал — одному в Березове, другому в Астрахани, да и сам в последние годы Михаила Федоровича судьей московского Судного приказа стал. Сын отцу и после кончины патриарха перечить не собирался.

Другое дело дьяк Иван Грамотин. Большой человек был, да дорогу патриарху Филарету перешел: в 1609 году участвовал в посольстве к польскому королю Сигизмунду — польского королевича Владислава на русский престол звать. Не успел великий государь Филарет до Москвы после плена польского доехать, как тут же врага своего заклятого в Алатырск сослал. Михаила Федоровича и предупредить не подумал.

Зато не успел патриарх отойти, как царь тем же днем приказал Грамотина в столицу вернуть, дал ему должность думного дьяка, доверил ему печать государственную да еще и все посольские дела. Будто еле-еле часу своего дождался.

Не соглашался государь Михаил Федорович с батюшкой своим, еще как не соглашался. А вслух голоса не подавал: то ли робел, то ли знал, не выдюжить ему против патриарха. Да и тот частенько ровно не замечал венчанного государя.

Судьбы у людей куда какие непростые бывали. Другой печатник — Федор Лихачев начинал и вовсе службу еще при Борисе Годунове самым что ни на есть мелким подьячим. При Лжедмитрии в дьяки вышел. В ополчении втором князя Дмитрия Михайловича Пожарского уже дьяком Поместного приказа в Ярославле выступал. На Москву с ним ходил. Под избранием на царство государя Михаила Федоровича подписался.

Великая Старица ему мирволила. Служил дьяк Лихачев и в Казани, и в Нижнем Новгороде. Занимался делами приказов Разбойного, Большого дворца, Разрядного и Посольского, да не угодил государю Филарету. Слух ходил, не уважил патриарха, царю почтение лишнее выказал. Тот его в 1631 году, после тридцати лет непорочной службы, в ссылку отправил.

Спасибо, скоро прибрался. Государь Михаил Федорович тут же Федору Лихачеву на царском приеме пасхальном быть дозволил. А там стал Лихачев и думным дьяком, и печатником до самой своей кончины в 1653 году. Государь Алексей Михайлович отцовским любимцам верил...

О государе-родителе Петр Алексеевич частенько заговаривал: ты, мол, расскажи, кроме тебя, откуда мне узнать. Матушка-то его уж в престарелых летах только увидала. Поди, с молоду иным был. Неужто сразу тишайшим стал? Все потиху делал. А я как же? Мой нрав откуда?

Отговаривался, как умел. И то правда: при дворе близким человеком в те поры никому из Ромодановских быть не пришлось. Коли что и знал батюшка-князь, все с чужих слов.

Все равно говори, требовал. Ни в чем не таись. Как к власти родитель пришел, с чего царствовать начинал.

— О том все знали: в четырнадцать лет государь Михаил Федорович наследника объявил, а в шестнадцать царевичу все бремя царское на себя

принять пришлось. И надо горю такому случиться: в одночасье и родителя, и родительницу потерял. Не пережила супруга Евдокия Лукьяновна. От горьких слез так и не отошла.

Мало что подросток, к заботам да чину непривычный, так еще и порядок во всем менять пришлось. Государь Алексей Михайлович пуще всего читать любил. Библиотеку рано собирать начал. Письма писать любил. Не раз, сказывали, говаривал: в письме душе просторней.

Да мало ли поговорок от государя пошло. Он ведь первым придумал: делу время — потехе час. А еще: без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится. Вирши писать принимался.

Ему ли было дядьке своему — боярину Борису Морозову противостоять. У того и воля, и характер, и, Господи прости, глупость. Все на Москве тогда так говорили. Никого не слушал, ничего не слышал — едино волю свою творил. Боялся как бы царственного питомца из узды своей не упустить.

И денег искал. Без ума, без разума. Семь шкур с посадских да торговых норовил спустить. Где государю в его-то веке было разобраться. Верил дядьке. Безоглядно верил.

14 июля 1645 года венчался государь-родитель на царство, а уже 7 февраля его будто бы указом да боярским приговором новую пошлину на соль ввели.

Оно понятно: куда людишкам без соли? Хочешь не хочешь — платить станешь. А коли новая пошлина в полтора раза выше рыночной цены оказалася? Так боярин Борис Морозов удумал, чтобы разом и казну царскую на случай чего пополнить и собственного кармана не обойти.

Народ московский с самого венчания на царство пошумливать стал. Все знали, как крепко на руку нечист другой царский любимец — И.Д. Милославский. Первую невесту государеву потому порушили, что от гнева царского да дознания решили иной царицей прикрыться — из Милославских. Из общего дома никто сору не вынесет.

Оглянуться молодой государь не успел, уж обвенчали его с Марьей Милославской. 16 января 1648 года свадьбу сыграли, а 25 мая посадские на московские улицы высыпали выдачи боярина Бориса Морозова требовать. Понимали, не добиться от государя милости, пока старый лис у уха государева караул несет.

Пока государь с мыслями собирался, дом морозовский только что не в щепы разнесли, до нитки ограбили. Окольничего Плещеева да дьяка Чистого смертно зашибли.

И на том не унялись, Морозова выкликали. Только и нашел государь способ — вместо дядьки дьяка Траханиотова на заклание выдать, дядьку же потиху из Москвы в далекий монастырь вывезти.

А пошлину отменил государь Алексей Михайлович. Понял: не быть без того в Москве миру.

Так вышло, что дядьку не предал, а к своей особе более допускать не стал. Из обители вскорости боярина возвернул, только от советов его наотрез отказался. Чего Борис Иванович ни придумывал, как ни изгалялся, смириться не мог, что воспитаннику в одночасье не нужен стал.

Петр Алексеевич так и встрепенется:

— Видишь, видишь, князь-кесарь, а все толкуют: тишайший.

Что тут видеть, когда сам государь-родитель частенько говаривал, что ему, грешному, здешняя честь — аки прах...

О таком времени и не вспоминать вовсе.

— День какой страшный выдался. Мне уж в те поры двадцать подоспело. Служил. Давно служил. И вдруг...

Москва который день ходуном ходила. Оно бы людишек приструнить, да как подступиться. Оно и впрямь от новых денег один разор пошел. Серебро медью государь Алексей Михайлович заменить решил.

Вроде бы какие такие дела? А вышло — враз людишки поразорились. Все нажитое потеряли. Торговлишка мелкая вся как есть порушилась.

Никто вроде бы людишек не бунтовал. Сами от себя в толпы сбилися. Решили прямо из приходских церквей, всем миром в Коломенское идти, у государя Алексея Михайловича облегчения просить. Какого-никакого, лишь бы деток голодом не приморить.

Июль на исходе — память преподобного Макария Желтоводского Унженского. Небо от жара белесое. Пыль ровно туман на всем пути от Москвы до Коломенского. Кругом поля бескрайние. Последние жаворонки заливаются.

Кто промеж себя разговоры разговаривает. Кто из попов кондак тянет: «Вторый Моисей явился еси, преподобне: он бо жезлом море раздели, ты же страсти яко Амалика победил еси, и непроходную пустыню немятежным умом прошел еси, в ней же молитвами твоими велие чудо сотворил еси: гладныя люди до изобилия прокормил еси. И ныне молися Господеви, подати всем печальным утешение, Макарие...»

Думали, примета добрая: к самому окончанию богослужения в храме Воскресения поспели. Первые — последние растянулись: в пыли да зное конца краю не видать.

Только замешкался государь. Видно, выходить на паперть засомневался. А куда денешься. Церковь на крутояре стоит. Что гульбище, что сходы со всех сторон за много верст видны.

Толпа опять шуметь принялась — вышел государь. Как плат бледный. Руки летают. Едва-едва удержал шапку — в ней, по обычаю, челобитную государскому величеству посадский человек Лучка Жидкий передал.

Письмо куда какое непростое. Посадские потребовали медные деньги убрать, серебряные вернуть. Бояр да приказных в их разорении повинных всех до единого наказать: попользовались, треклятые, народной бедой. Все руки погрели.

Государь головой кивнул: мол, все прочтет, на все и ответ даст. Так нетути! Озверела толпа. Выскочил еще один посадский человек — Мартын Жедринский и ото всего мира не попросил — потребовал, чтобы государь тут же, прилюдно, на всем честном народе письмо бы громким голосом вычел, на все как есть согласился и в том бы бить ему, великому государю, как смерду простому, по рукам с избранным посадским, что все выполнит, ни от чего впредь не отопрется.

Подумать бы им, людишкам-недоумкам, отчего это великий государь с ними разговоры разговаривает. Страже своей выгнать их не велит. Куда им!

А тем временем с Москвы стрелецкие полки подтянулись. Стрельцы на конях. При оружии. На своих налетели, как на ляхов али турок. Без пощады. Без оправдания.

Коломенский холм враз побагровел весь — кровушкой залился. Людишки врассыпную кинулись. Стрельцы за ними, как за зайцами, гонялись. Кого на месте рубили. Кого в Москве-реке топили — волна уносить не поспевала. Кого разогнали. Калек да увечных поле целое осталося.

Государыню Марью Ильичну — на сносях была — доволочь до терема не могли: глянет округ и сомлеет, куда голову ни повернет, опять завалится.

Государь Алексей Михайлович повелел всех увечных к большой дороге оттащить, чтобы у теремов не маячили. Они там на солнцепеке многие через час-другой и прибрались. Кто бы о таких заботиться стал, разве что позже на Божедомку свез.

Государь Петр Алексеевич молча слушал.

— А назвали как побоище?

— Медным бунтом.

— Уступил им в чем батюшка?

— Не уступил.

— И я бы не уступил. Им только потачку дай. Лучше всех сразу рубить. Другим неповадно станет. А дух тягостный долго стоял? Дети ведь царские...

— Не скажу, государь. Стрелецкие полки сразу после дела в Москву вернули. Никого не оставили...

А иной раз как с государем схватится. О Господи!

— Так тебе скажу, государь, молодость уму не помеха.

— Ничего не скажешь, удивил, Федор Юрьевич! Долго ли над мудростью такой думал?

— А ты не смейся, Петр Алексеевич, не смейся. Никогда, что ли, не слышал, что ума человек с веком набирается?

— С веком из него и выживает.

— И то верно. Только я о государском уме говорю.

— Понял, что его набираться не надо?

— Не набираться, Петр Алексеевич. А как ты есть помазанник Божий, то и откровения тебе свыше приходить должны. Вот я о чем.

— И что же, по-твоему, меня осенило?

— Не о тебе речь, государь, — о твоем царственном родителе. Вот любишь ты всякими сооружениями заниматься. А ведь в него это, в великого государя Алексея Михайловича. Страсть строить любил, сам каждой постройкой занимался.

— Вот как! Что ни день с тобой, князь, то новость.

— Сам посуди, государь. Не успел родитель твой на престол вступить, а уж распоряжаться строителями своими начал.

— Где ж бы это? На примерах не вижу.

— А ты повнимательней погляди, Петр Алексеевич. Перво-наперво государь-родитель твой на Коломенское глаз положил. Совсем как дед твой, великий московский строитель Михаил Федорович.

— Дед строитель?! Да ты что?

— Что за диво! Сам посуди. За семь лет всю Москву Земляным валом окружил. Стены Симонова и Новоспасского монастырей возвел. Мало ли?

— Откуда рабочие руки брал? Ведь каменщики были нужны.

— И не они одни. А там государь Михаил Федорович Гостиный двор в Китай-городе устроил. Как иначе — Москва испокон веков на торговле стояла. До Кремля руки дошли. Тут тебе и поделки всякие, и водопровод — ведь при нем, государе Михаиле Федоровиче, водица-то в каждом уголке дворцов да жилья кремлевского появилась.

— Напомни полюбопытствовать: какое устройство там механическое было? Ведь это сколько лет назад.

— Да уж, не один десяток. Прибавь сюда Теремной дворец для наследника.

— Которого?

— Первенца государева, царевича Алексея Алексеевича.

— Он что, в отдельном дворце жительствовал?

— Как объявлен был в соборе Успенском, так в отдельном. С полным штатом придворным.

— Да уж тогда не видать бы мне престола, как ушей своих. Черед до меня вона какой выстроился.

— Попервоначалу, а там уж как Господь рассудил.

— Выходит, забот по строительному делу хватало.

— А ты еще прибавь сюда пристройку к звоннице Ивана Великого, иначе — Филаретову пристройку, да верх на Фроловских воротах.

— Никогда в голову не приходило.

— Оттого и поспешаешь во всем, Петр Алексеевич. Оно спех, может, где и хорош.

— Надоел, Федор Юрьевич.

— Надоел, говоришь. В который раз старика пресекаешь. А надо ли, государь? Не я, так кто остудить иным разом исхитрится. Рад бы, да своя

рубашка ближе к телу — поостережется. И про часы тебе, Петер Алексеевич, надоело?

— Про куранты? А что ты мне про них сказать можешь? Дедовские времена — и механика!

— Погоди, погоди, торопыга, прости Господи! Дед твой, государь, преставился, не успев главным своим делом заняться — кремлевские стены вычинить. Где они пообветшали, где и вовсе в прах рассыпались. Строить их надо было, чуть не заново строить.

— Весь Кремль?!

— Весь не весь, а только батюшка твой, государь Алексей Михайлович, даром что подросток еще, начать решает со стен кремлевских и с Коломенского — больно ему по душе пришлось. Такие задумки у него были, строители диву давались. А для начала повелел все ветхости наиподробнейшим образом описать. На такое дело два года, вынь да положь, ушло. Государь Алексей Михайлович не один раз опись с натурой самолично сверял. Батюшка сказывал, не гнушался в дьяческих крючках разбираться.

— Да в них разбираться надобно.

— Не боги горшки обжигают. А ты-то — все науки разом постиг али на деле учился?

— Опять за меня принимаешься, старый хрыч?

— Не за тебя, государь, не за тебя. Как опись составили да проверили, выискался печник Куземка Кондратьев устроить кирпичную обжигательную печь в Даниловских сараях, бок о бок с обителью. Печников-то на Москве много было, а этот взялся немецким образцом печь вывести.

— Откуда прознал? В чужие страны его дед посылал?

— Какие там чужие! На Москве иноземцев всегда хоть отбавляй было. От них небось науку и перенял. Забыл, поди, государь, как оно до нашего времени ведется. Хочешь ремеслу научиться, иди в ученики. Хочешь учеником стать, договор с мастером пиши: он тебя поить, кормить, одевать, обувать, под крышей держать станет да и ремеслу учить, а ты ему в ремесле помогать. Куда же ремесленник без подручных: много не наработаешь.

— И на сколько лет в кабалу шли?

— По-разному. Но уж к положенному сроку если мастер ученика не выучит, быть ему на правеже от приставов: достаточно ученику в приказ прошение об обиде написать.

— И что у твоего Куземки получилось?

— Да просчитался он. Крепко просчитался.

— В чем?

— Не в печке и не в материале. Вышло так, что давала печь, помнится, тридцать четыре с половиной тысяч штук — для Кремля мало. А тут еще и время упустили: сильно искрошился кирпич старый. Вышибать больше надо было, да и каменщиков поопытней, видно, не нашлось. Не успевали подправить, как все снова валилось.

— И дед все бросил?

— А ты ветхий Кремль, Петр Алексеевич, видел?

— Да нет, но...

— То-то и оно. Государь Алексей Михайлович своего добился. Никогда дела на полпути не бросал. Указ он издал всех каменщиков и кирпичников в Московском государстве тут же в Москву свезти да не отпускать, покуда всей работы толком не закончат.

— Пригрозил крепко?

— А великому государю указом нужды нет грозиться. На то воеводы есть, чтобы все как есть исправлено по царской воле было. Все в лучшем виде сделали, а пока трудились, плотники принялись дворец в Коломенском рубить. Не слыхал, как первая супруга государя-родителя втихомолку пеняла: нигде — ни в Кремле, ни за городом — от лошадиного ржа-

ния, ямщицких криков да скрипа колес голосу собственного не услышишь.

— Это надо же! А что ты про часы сказать хотел?

— Не просто часы — куранты. А то, что ты теперь перед заезжими механиками диву даешься, не знаешь, как искусству их надивиться, а часы на кремлевских башнях еще дед государя Ивана Васильевича Грозного соорудил. Посчитай, сколько лет тому прошло, ась?

— А они время-то по часам делить умели?

— Видит Бог, Петр Алексеевич, нет мне нужды обо всех давних делах толковать да еще твои прибаутки слушать. Только...

— Только что? Чего замолчал, Федор Юрьевич?

— Да ничего. Не мое это дело.

— Э, князь, не выйдет! Начал говорить — договаривай. Слышь, Ромодановский, что говорю.

— Твоя воля, государь. За государство твое обидно. Будто в лес глухой, трущобы непролазные ты пришел: ничего округ да около тебя не было. Вместо людей, предков наших, медведи да совы одни водились.

— Ладно, ладно, не серчай, Федор Юрьевич, не гневись. Лучше про часы скажи. Кто их соорудил? Кто по тем временам привез? Поди, византийская царевна?

— Про то несведом. А монаха-сербина все на Москве помнят. Он и поставил часы в Кремле, да еще какие — иная европейская столица позавидует. Чем тебе своими словами сказывать, загляни-ка в летопись Воскресенскую, там летописец все прописал. И что на каждые четверть часа выходит из особой будки на часах человек металлический, молотом по наковальне время отбивает, а потом, дом округ обойдя, снова в домик уходит и дверь за ним запирается. Плохо ли? Сколько послов тогда, при государе Иване Васильевиче III, в Москве перебывало, все о часах написали.

— Это что ж выходит — еще двести лет назад?

— Вот-вот, ты и поразмысли, государь, где на брюхе перед Европой ползать, а где и в рост постоять можно. Когда Ивана Васильевича Грозного не стало, на башнях кремлевских уже трое курантов стояло — над воротами Спасскими, Троицкими и Тайницкими. А в Смутное время при них отдельный мастер — часовник — состоял для наблюдения и бережения.

— Вот это дела!

— Да что там! Когда дед твой, блаженной памяти государь Михаил Федорович, за починку Кремля взялся, в те поры и Фроловскую-Спасскую башню надстроить положил: не для прибамбасов каких — для часов. Потому что решил государь поставить здесь новые куранты аглицкой земли часового мастера Христофора Галовея. Он-то и возвел, по благословению патриарха Филарета, над старой боевой площадкой два палатных корпуса, что сегодня стоят. Во втором ярусе на стенки циферблаты Галовей вывел, а на первом украшений разных каменных резных напридумывал и еще стрельцов в однорядках поставил.

— Как стрельцов? На башне?

— А как же, болванов деревянных в стрелецку одежду приоблекли — они там на ветру, дожде да на снегу и стояли.

— И делись куда же?

— Да сняли их: больно одежонка на болванах быстро изнашивалась, да еще многие их за живых принимали.

— Я бы оставил, только в новой форме. Погоди, погоди, князь, а куранты на Никольской Сретенской улице, у Нового Печатного двора, откуда взялись?

— В год кончины своей дед твой их соорудил, зато батюшка Коломенское изукрасить курантами положил.

— Трое их.

— Трое и задумано было. Каких дел у твоего батюшки ни было, все в Коломенское заглядывал. Жить там любил. Коли дела в Москве держали,

хоть на час-другой туда заглядывал. К осени 1667 года плотничий староста со всей артелью уступил место резчикам для полной отделки. Резчики-то из Белоруссии были. Старец Арсений у них за главного.

— Долго возились. Куда как долго. Коли посчитать, без малого двадцать лет.

— Верно, а там еще на роспись два года положи. За это время хоромы царя и царицы, что государь Грозный для себя построил, вчистую разобрать сумели. Чего только там не было!

— Хорошо, что разобрали. Нечего со старьем возиться. Теперь вот еще с батюшкиным дворцом решать надо. Не понадобится он мне. Да и государыня-матушка его не любит.

— Тут своя причина была, только диво такое рукотворное чем же завинилося? Его-то для радости людям почему не оставить? Государю много дворцов надобно.

— Новомодных, а этот... Забыл, Федор Юрьевич, как государь-братец Федор Алексеевич, едва на престол вступил, все новое для себя в Коломенском строить стал?

— Как не помнить. Столовую палату, сени новые с трехъярусными теремами и гульбищами вокруг теремов, ворота над сенями.

— Видишь, видишь, сколько времени прошло! Когда государь-батюшка большой свой дворец к окончанию привел?

— К 1671 году. И было в нем 250 покоев, а для освещения требовалось 3000 свечей. Шутка ли!

— Что ж ты, Федор Юрьевич, братца-государя Федора Алексеевича порицать за роскошество да траты не думаешь, а меня так сразу и за загривок?

— Что с государя Федора Алексеевича за спрос! Совсем молод был, да и советчиками похвастать не мог: все больше за своим — не государевым карманом следили. Нешто есть такой обычай чужие, скажем, ошибки-то повторять?

— А я вот, князь, описание того братнинего дворца еще когда в донесениях послов иноземных читал.

— Об отцовском дворце они, Петр Алексеевич, доносили, об отцовском. Как ни поспешал государь Федор Алексеевич, не под силу ему было родителя вполовину догнать.

— «Хоромы все деревянные, плотническою работою довольно доброю... против них четыреугольна о шести теремах башня, так крепко в дерево и в замки угольные связаны, что обвалиться нет опаства и во всяком тереме пригожие беседы, передние сени с теремом осьмигранные, в которых зодиак выписан, потом двои хоромы с лавками и печьми довольно пригожими около окон сницерокою — резною работой рези изрядные, оконницы слюдяные довольно хороши, изба для бояр, из последних хором выход в комнату довольно граждански сделан... Щиты над хоромами крупные круглые, на которых Европа, Африка, Асия написаны. Над всходами — лестницей суд Соломонов написан; перед сеньми выстава из окон дутая писана гербами государей и государств. Столовая изба на боку в том же дворе, с особою своею сенью и с главою, в ней стол у одного угла изрядно писан под алифою...»

— Не хочу! Слышь, Федор Юрьевич! Такого не хочу! И то ничего, и то изрядно, а как ни поверни, изба, как есть изба! Не будет у меня такой! Это тебе там впору бородой своей трясти — вот и тряси на здоровье, а от моих дворцов все европейские государи от зависти перемрут.

— Твоя воля, государь.

— Моя! А чья ж бы еще. Как сказал, так и будет!

— Вот ты сказал, государь, покойной государыне царице Наталье Кирилловне не показался коломенский дворец. Так ведь?

— Так! Только так, коли уж матушку покойницу поминать.

— А чем же, прости, великий государь, настырность мою, преображенские хоромы-то лучше оказались? Разве что государь-родитель твой в них с покойной царицей Марьей Иличной не бывал? Первой хозяйкой она в них вошла?

— А хоть бы и так! Не нужно мне твое Коломенское, и весь сказ.

Суженые

Раненько весна наступить собралася. Еще февральские метели не отшумели. Еще по ночам снег под ногами трещит, крупой серебристой ломается. Еще колеи на дорогах льдом намертво скованы. А солнышко пригревать начало. Первые ручейки побежали. Краснотал по речке будто соком вишневым налился. Загустел в зарослях. Почки пушистые выкинул. Дятел на березы пересел.

Хоть в Москве всего и не видать, князь Юрий Ромодановский самолично в Льялово заспешил. Старый приказчик хорошо, а свой глаз всегда лучше. Не пропустить бы работ — что в саду, что в поле. Пока дорогу не развезло.

Дня не пробыл старый князь в поместье, колокольцы залились. Возок мчится. Никак сынок Федор Юрьевич. С чего бы спех такой? Да по нынешним временам в Москве все случиться может. Правительница правительницей, а не по порядку дела делаться стали. Баба при двух братьях, на престол поставленных. Чего только в голову не взбредет, лишь бы несуженому и неряженому угодить. Нашла деда да в полюбовники и затащила, Господи прости. Не иначе дурные вести младший князь везет. Хоть бы годик-другой в спокое пожить.

В столовой палате приказчик распорядиться успел: стол накрыт. Девки с закусками шастают. Мед, брага уже стоят.

— Здрав буди, государь батюшка.

— Здравствуй, Федор Юрьевич, здравствуй. Чего людей пугаешь, с какими новостями из первопрестольной спешишь? Скажешь, по отцу соскучился, — не поверю.

— Николи тебе, государь батюшка, не врал. С чего теперь-то начинать стану.

— Вот и ладно. Гришка, девок — вон, и сам с ними, поди. Все на стол доставил?

— Все, батюшка. Кушайте с молодым князем на здоровье. Коли чего, только в пол посохом стукни.

— Стукну, стукну. А теперь говори, Федор Юрьевич.

— О женитьбе я, государь батюшка.

— Своей, что ли?

— Если на то благословение твое будет.

— Что ж, дело хорошее. Давно пора о наследниках подумать. Меня, старика, внуками порадовать. А только спех к чему? В твои-то годы и пообождать можно.

— Годы годами, а ждать — сам посуди. Я о невесте, что в девках таперича не засидится.

— Таперича? О ком же речь?

— О царицыной сестрице — Настасье Салтыковой.

— Приглянулась, что ли? С приданым там сумнительно — голодранцы они, как есть голодранцы. И чего только правительница их для государя Иоанна Алексеевича выбрала. Нешто других, и знатнее, и родом пославнее, не найти!

— Она в деле — ее и расчет, батюшка. А по мне — в самый бы раз с молодой царицей породниться.

— Царицей! Не в ту версту метишь, да и служишь ты при государе из Нарышкиных. Как оно у тебя получиться может? Всех разгневаешь, а выигрыш-то твой в чем?

— Вот и приехал я, государь батюшка, с тобой дело-то это обговорить.

— На Нарышкиных надежда плоха, сам знаю.

— Плоха не плоха, а по нынешним временам ничего не поделаешь. Известно, два государя на одном престоле надолго не угнездятся. Кто-то, да перетянет.

— Пожалуй, на Нарышкиных надежда плоха. Может, государыня вдовая Наталья Кирилловна и живот бы за сынка отдала, да от своего живота толку тут куда как мало. При дворе у нее сторонников днем с огнем не сыщешь. А советов ничьих слушать она не станет: ндравная, да и больно опасливая.

— Станешь тут опасливой.

— И как же ты при всем при том невесту с чужого двора высматриваешь? О вдовой царице подумал ли?

— Как не подумать. Ей только подсказать надобно, что при такой свадьбе не отберут у ее сына стольника Ромодановского, да и у нее самой ниточка крепкая к Милославским протянется: когда что прознать, выведать, в чем упредить.

— Думаешь, поверит тебе?

— А чем я веры той не заслужил, государь батюшка? Николи порухи с моей стороны никакой не бывало.

— Так ведь напрямую так толковать с вдовой царицей не станешь. Чином ты да службой, Федор Юрьевич, еще не вышел.

— С государыней не получится, а вот через царевну Наталью Алексеевну получиться может.

— Да ты что? Через девку?

— Не смотри, государь батюшка, что молода. Всего на годок государя Петра Алексеевича помладше, а государь с ней, почитай, про все толкует. Она его и успокоить умеет, да и разуму ей не стать занимать.

— Значит, как все дочки покойного государя.

— Говорят, на правительницу многим похожа. От книжек не оторвешь. Про дела государственные рассуждать с братцем государем любит. Матушку вдовую царицу в руках держит.

— Ишь ты, еще одна царь-девица. Хитра, значит.

— Не хитра, батюшка, рассудительна. Вон какую дружбу с молодой царицей завела. На людях они врозь, а на деле льнет к ней Прасковья — старших золовок боится. От супруга богоданного защиты и вовсе никакой не видит.

— С того бы и начинал, Федор Юрьевич. Вот не думал, что у салтыковской дочки какой-никакой разум есть. Собой и вправду хороша, а по соображению никогда не скажешь.

— Если не разум, так страх. На днях царевне Наталье Алексеевне обмолвилась, что ежели, мол, князь Голицын супругом правительницы законным станет да на престол вступит...

— Эва куда махнула!

— Не она одна, и другие о таком подумывают. А у Прасковьи Федоровны одна печаль — куда тогда ее с Иоанном Алексеевичем денут, в живых оставят ли. Вот, может, и поразмыслит о браке сестры — лишняя опора никому не мешала.

— Складно у тебя, сынок, получается. А о том подумал: в версту ли ты теперь царицыной сестре придешься? Знаю, Салтыкову Прасковьина свадьба ох как в голову ударила. Никогда умом не блистал, а тут и последние остатки растерял. Напыжился, раздулся, как мышь на крупу.

— В том, государь батюшка, и загвоздка, чтоб никто не опередил. Втолковать ему надобно, какая честь для семейства его безвестного да беглого.

— О другом попомни, Федор Юрьевич. Насколько невеста твоя присмотренная моложе жениха будет.

— Не первая, не последняя. Было бы родительское благословение.

— И то правда. А о роде нашем — что ж, Рюриковичи мы, не то что Романовы.

— Не стережешься ты, батюшка государь.

— В своем Льялове да беречься, тогда уж и вовсе жизни не будет. У Романовых таких родовых земель и в сонных мечтаниях не бывало.

— Государь батюшка, помилуй! За тебя же опасаюсь.

— Сам о роде нашем заговорил. От седьмого сына великого князя киевского Всеволода Большое Гнездо его ведем. Его старший брат Ярослав, как киевский великокняжеский престол занял, Ивану, младшему, отдал в 1238 году в удел город Стародуб-Владимирский на Клязьме, от Коврова невдалеке. Ковров в те поры стал прозываться Клязьменским городком.

— Так и Ивана Всеволодовича Стародубского Господь бесплодием не обидел.

— Какое! От него одного десятки княжеских родов пошли. Тут тебе и Пожарские, и Хилковы, и Ряполовские, и Татевы, и Гундоровы, и Туловы, и Палецкие.

— Что ж, государь батюшка, наших не называешь?

— А Ромодановские только во времена великого государя Ивана Васильевича III отделились. За ними и князья Льяловские — по здешним землям. Вотчину получили тоже на берегу Клязьмы, великой русской реки. Сродственники наши.

— И на государевой службе всегда в отличии были.

— Иначе скажи. Служить честно служили, а уж как за то отмечены бывали — иное дело.

— Царедворцами не были.

— Не в роду это у Ромодановских. А все равно кругом бояре. Вот погляди у Петра князя Стародубского, что при государе Иване Васильевиче Грозном по земельному делу в Юрьевском уезде занимался, два сына — Иван да Григорий. Иван при царе Шуйском послом в Персию поехал. Не вернулся: калмыки в Астрахани порешили. Григорий — боярин, у него три сына — Григорий, Василий Меньшой да Федор — все бояре...

Всех служб Григория Петровича не упомнишь, одно верно — сразу по избрании Романовых на престол составлял после Смуты и разорения счетный список доходов и расходов государевых. Не каждому такое доверят, не каждый без охулки из такого дела выйдет. В Угличе и Костроме разбирал дворян и боярских детей, потом дело дозоров ведал.

— Обелил ты его, государь батюшка, ох обелил.

— Ты о Смутном времени, что ли?

— О нем о самом.

— Э, в те поры кто бы разобрался, где власть правая, где неправая. Это в задний след дорожку разглядеть можно, когда пыль уляжется.

— То ли уляжется, государь батюшка, то ли и вовсе глаза запорошит. Я к тому, что боярин Григорий Петрович вместе с князем Воротынским защищал Москву от Тушинского вора. За Сапегой гнался и разбил его наголову у села Воздвиженского.

— И сына там потерял — досталось ему. Вот тогда его воеводой в Каширу отправили. На государской службе для печали никто времени не отпустит.

— А после Каширы какими делами Григорий Петрович заправлял?

— Нешто не знаешь? При царе Владиславе, боярами выбранном, по боярскому приговору велено ему быть в Судебной избе на Москве, для суда русских с Литвой. Не одни государи — все боярство Ромодановскому доверяло. Знало, не покривит душой, охулки на руку не положит. Так вот ты знать хотел: у Григория Петровича снова три сына — три боярина. Андрей, Григорий да Михаил Григорьевичи. А Ивана Меньшого Ивановича помнишь? Его при женитьбе государя Алексея Михайловича на царице Наталье Кирилловне не стало.

— Как не помнить. Воевода нижегородский, воевода Мценский. Его-то всегда князем величали.

— Да уж потрудился на своем веку. Был переписчиком на Устюге, верстал новиков и разбирал служилых людей в Твери и окрестных городах. А как государь Алексей Михайлович престол отеческий занял, Ивана Ромодановского отправил на Верхотурье и во все сибирские города приводить людишек ко кресту новому царю.

— Помнится, Иван Иванович и на Валуйках на Крымском размене был. Кажись, никогда в Москве на месте не сиживал.

— Заговорились мы с тобой, князь Федор Юрьевич. Давай по делу твоему говорить. Благословение свое отцовское тебе на такую женитьбу даю. И сватом стану. Может, и впрямь поторопиться тут не грех. Завтра же в Москве буду...

У государыни царицы, гляди, народ собрался.

В покоях царицыных только что не буря. Государыня Наталья Кирилловна по палатам мечется, на прислугу в голос кричит. Еды — крошки в рот не берет. От гнева ничего округ не видит.

— Выиграла, треклятая! Выиграла! Не чаяли, не гадали, и на тебе!

— Государыня, так ведь это для всей державы — не для одной царевны.

— Для одной! То-то и оно, для нее одной! Оглянуться не успеем, как она братцев побоку, сама, сама со своим Васенькой на престол вступит!

— Полноте, государыня, так где же такое видано было, чтобы при законных государях...

— Вот-вот, законных. Был-то один Петруша. Его выкликнули, ему присягали. А она — она одна все перевернула: два государя оказалось. О том слыхано ли когда было? Слыхано, спрашиваю?

— Известно, Милославские набаламутили — не одна царевна. Кто ж о ней одной думал?

— Думал! Известно, как индюк думал, да в суп попал, не знаешь, что ли. А вот теперь мира она добилась! С ляхами — мира! Да не какого-нибудь — *вечного*!

— Государыня матушка, слова ведь это одни. Сегодня вечный, а завтра о нем и не вспомнит никто.

— Хватит мне голову дурить, хватит! Что в мире-то том? Чего треклятая добиться успела?

— Если тебе, государыня царица, вкратце сказать...

— Слава тебе, Господи, наконец-то и ты, князь Федор Юрьевич, подошел. Будет кому правду сказать!

— Да разве же я, государыня царица...

— Замолчи, замолчи, Никита Моисеевич! Все-то ты знаешь, да мало говорить собираешься. Насквозь тебя вижу. Пусть лучше Ромодановский.

— Да что ж тебя зря огорчать, государыня Наталья Кирилловна. Дела это государственные, во времени протяженные. Сегодня с одним смыслом, а пройдет время, а уж смысл-то и поменялся.

— Хватит, Зотов!

— Хоть и не слыхал вашего разговору, государыня царица, а с ходу сказать могу: прав Никита Моисеевич — с делами государственными как с овощем в огороде: то растут, то чахнут, то плодоносят, то пустыми стоят. О чем толк-то?

— Да вишь, князь Федор Юрьевич, государыня царица очень огорчилася Вечным миром.

— Огорчилася? Вечным миром?

— Не о том говоришь, не о том, Зотов. Вода-то эта на мельницу Софьи Алексеевны: больно ловко править державой умеет. И так власть повсюду прибирает, удержу не знает. Вот и хочу знать, чего добилася своим вечным, вишь ты, миром.

— Что ж, для державы сына твоего, государыня Наталья Кирилловна, совсем не плохо. Коротко сказать, ляхи от левобережной Малороссии всей отказались. Выходит, границы наши укрепились. Порядок может в тех краях наступить.

— Еще!

— Еще Киев нам отдали. Уж это впрямь удача великая.

— Еще!

— Еще Смоленск, за который супруг твой покойный в походы ходил.

— Еще!

— А вот еще расплата наша за уступки эти, и куда какая немалая.

— Как это расплата? Деньгами, что ли? Казну трясти?

— Хуже, государыня, много хуже. Обязалась царевна Софья Алексеевна за все уступки польские помогать польскому королю в войне с турками. Есть у польского короля и другие союзники — и Венеция, и Германская империя, да без наших стрельцов да казаков мала их сила.

— А как же Петруша? Как Иоанн Алексеевич? У них-то спросили? С ними посоветовались?

— Нетути, государыня. С Петром Алексеевичем нет, а вот Иоанн Алексеевич, сказывают, согласие дал.

— Вот как. И что же теперь будет, князь?

— В поход на Крым войска наши собираться начинают.

— И кто же у нее за полководца-то станет? Сама в поход пойдет аль как?

— Надо полагать, государыня, князя Василия Васильевича Голицына на такое дело отправит.

— Полно, полно, Федор Юрьевич, куда Василию Васильевичу идти. С делом ратным не спознался, а дорога до Крыма куда какая долгая. Да и неудобств всяких не перечесть.

— Не о том, Никита Моисеевич, думаешь. Командовать и без князя люди найдутся. Зато слава вся ему достанется, а она Голицыну ой как нужна.

— Ему-то, положим, Федор Юрьевич, и нет, а вот правящим особам.

— О чем это вы? В толк не возьму.

— И в голове, государыня царица, не держи. Покуда еще дело до похода дойдет.

— А то, Господь милостив, и вовсе не дойдет.

— Да не вырастет Петруша так-то скоро, не вырастет, а она, злодейка, вона как торопится, устали не знает...

К государыне царице Прасковье Федоровне сестрица Настасья Федоровна в гости пожаловала.

— Сестрица! Государыня матушка, ты уж прости, что без зову, без договору...

— Что ты, что ты, Настасьюшка, ты у меня как нечаянная радость, будто окошко на волю распахнулося.

— Спасибо тебе, сестрица, за привет. Жалуешь меня, Прасковья Федоровна, не по чину.

— Сестринский чин самый главный, Настасьюшка. Да ты никак в слезах. Глазки-то поприпухли. Ой, голубушка!

— Вот потому и не удержалася, Прасковьюшка. С кем, акромя тебя, посоветоваться, кому поплакаться.

— Сразу и поплакаться. Погоди, погоди, касатушка, мы с тобой речь не здесь поведем — в теремной садик подымемся. Не бывала ты там у меня, вот и полюбуешься.

— Не до садика мне, сестрица, и ни до чего.

— А коли скажу, что про печаль твою все знаю, да и печали никакой и не вижу?

— Откуда тебе, сестрица, знать. Сама о нем два дни тому узнала. Все надеялась, может, сама в дом отцовский заглянешь, аль к себе позовешь.

— О сватовстве толковать хочешь, так, голубонька?

— Ой, Господи, откуда ты прознала, государыня сестрица?

— Сорока на хвосте принесла, и весь сказ. Ты лучше скажи, ошиблась ли сестрица аль нет?

— Конечно, нет. Вот только...

— Женишка боишься?

— Не то што, сестрица, боюсь — обмираю вся. Не видала его, слыхом о нем не слыхивала. Как есть что снег на голову.

— Ну, сестрица, снежок-то это хороший.

— Никак он тебе по сердцу, сестрица? Видала его? Што слышала?

— Видать видала, и не один раз.

— Ой, где бы это, государыня сестрица? В церкви, поди.

— Когда же это царицы да царевны вместе с государевым двором службу стояли? Николи такого не водилось. И церква у нас в теремах особая, чтоб на каждый день. Ну а на праздники, ежели в собор выйти надоть, там перед тобой полотнища держут: ни тебя никто не рассмотрит, ни ты никого не увидишь.

— Знаю, государыня сестрица, все знаю, да ведь увидела же ты боярина.

— Погоди, не торопись, Настасьюшка. Тут дело особое. Федор Юрьевич в стольниках состоит.

— Так ведь у государя Петра Алексеевича.

— Верно, у государя нашего младшего. А по делам частенько в наши палаты к моему государю захаживает: то весточку какую, то гостинчик какой передать. А на мой разум, коли нужды нет, сам ее придумывает.

— К чему это, государыня?

— Про то я несведома. А у вдовой-то государыни Натальи Кирилловны в большой чести. Уж так-то она его привечает, что, может, иной раз и совета его послушает.

— Не по моему разуму ваши дела, государыня сестрица. Хоть убей, в чем дело — не пойму.

— Да и мне, Настасьюшка, где понять. Одно сердце чует: сестрицы государыни-царевны государя моего против братца младшего как против врага лютого настроить хотят. Да незлобивый он у меня, ко всем людям приветный. И я как могу словечки вставляю, чтоб мир да лад промеж братьев был. Вот на том и боярин наш стоит. Может, лишним словом и не перекинемся, а без слов друг дружку понять стараемся. Немного таких, Настасьюшка, ох, немного. Всем смуты да раздоров надобно.

— Да как же, государыня царица, кругом толкуют, твой государь Иван Алексеевич куда главнее. На что ему с младшим-то возиться? Да и то сказать, правительница-то и так государыня царевна София Алексеевна. Что уж!

— Ох, Настасьюшка, до добра тебя язык твой не доведет. Тебе-то что, кто делами сегодня заправляет. За сегодняшним днем завтрашний поспешает. Бог весть, какие перемены несет. Мой тебе совет: в беседы-разговоры ни с кем не пускайся. У нас ведь как: слова не договорил на своем дворе — ан на царском откликнулось. Про воеводу Илью Кузьмича Безобразова, чай, помнишь?

— Безобразова? Чтой-то запамятовала.

— А вот я тебе и напомню. Всем урок преотменный, как при царском дворе жить, да и в своем собственном стеречься надобно. Своим домком заживешь — всегда помни.

— Господи, не пужай, сестрица государыня!

— Как не пугать. Тут испуг только на пользу пойдет. Частенько его мой государь поминает, молитвы за него творит. Видать, на сердце ему лег. Дедто Безобразов Кузьма в любимцах еще у государя Ивана Васильевича ходил.

— Грозного? Поди, плохо кончил.

— То-то и оно, что хорошо. Все говорили, чудо какое: и в шведский поход ходил, и засеки — оборону от татар — на рубежах наших строил. Все путем, все при полном царском удовольствии. Ничем Ивана Василь-

евича не прогневал. У Бориса Годунова — не к ночи будь душегубец проклятый помянут — доверием пользовался. Сказывают, Борис Федорович и секретов от него не имел. Безобразов из палат царских не выходил. Царица годуновская Марья Григорьевна...

— Это та, что кровопийцы Малюты дочь?

— Вот-вот, во всем на него полагалась. Да что — Лжедмитрию Самозванцу умел угодить.

— Вот, прости Господи, оборотень-то.

— Да ты, Настасьюшка, слушай, дальше-то еще больше. При Самозванце, как Маринка-вориха в Москву прибыла, Кузьма Безобразов мало что в свадебном поезду ехал — брачный подклет охранял. Такое никому из бояр и не снилося.

— Это ж как потрафить надо!

— Потрафил, значит. Да не ему одному. Царя Василия Шуйского выбрали, и он к Кузьме Безобразову прилепился — постельничим назначил: всей дворцовой прислугой командовать, ночами на пороге царской опочивальни, если что, спать. Поместий одних надавал видимо-невидимо, да все в вотчину. Веришь, все за сыном его Ильей в вотчину закрепил. На Ржеве.

— Да нешто это государи были?

— Никогда о венценосцах так говорить, Настасьюшка, не моги. Венец царский — он от Господа Бога. Если людскими руками и надет, все едино — по Божьему произволению.

— Ох, сестрица государыня, как ты говорить-то мудрено научилася, аж страх берет.

— На то и царские терема. Здесь не учиться да не прилаживаться, в одночасье пропадешь — никто и не помянет.

— А мы-то с тобой думали...

— Мало что дуры девки от безделья выдумают. Нечего и поминать.

— Да ты вот, государыня сестрица, все о стародавних временах толкуешь, а мне...

— Будут тебе, Настасьюшка и новые. Государь Алексей Михайлович деток Кузьмы жаловать стал. Василию велел в хранительном попечении заново отстроенную Немецкую слободу на Кокуе иметь. А Илья Кузьмич где только не служил. Воеводой и на Двине, в Холмогорах, и в Астрахани. Дворянином по «Московскому списку» состоял, судьей в Разбойном приказе сидел. Что там — Патриаршим разрядом перед самой кончиной государя Алексея Михайловича заправлял. А вот сынок-то его единственный Андрей Ильич сплоховал. Все семейство под обух подвел, да и состояния всего огромного враз лишил.

— Господи, да как же это?

— А вот так. Назначил государь Андрея Ильича воеводой на Терки, в горы Кавказские. Известно, места далекие, немирные. Выходит, немилость царская. Воевода и решил к колдунам отправиться, любовь государеву воротить.

— Да нешто так можно? Страсти какие! А коли прознают?

— Прознали, а как же. Воеводу с полпути вернули. Колдунов по доносу того раньше выловили, с пристрастием допросили. Они что было, чего не было, все выложили. Тогда и воеводу с пристрастием допрашивать стали. Без малого неделю на правеже держали, живого места на нем не оставили, а там к смертной казни и приговорили.

— И казнили?!

— Царскую милость оказали — постригли насильно и в отдаленный монастырь на север отправили безвестно. Слышь, Настасьюшка, *безвестно*! Чтобы никто и следов его не сыскал никогда, ни во веки веков. А колдунов сожгли. В срубе. Как староверов.

— Так это что же, государыня царевна Софья Алексеевна...

— Тихо, тихо, Настасьюшка! Известно, кто кроме нее. Вот мы к женишку твоему и возвернулися. Все его жалуют, всем он угоден. Государы-

ня царевна Софья Алексеевна ничего против него не имеет. Глядишь, там и в гору пойдет. Ежели что.

— Старый он, государыня сестрица.

— Значит, видала его?

— Одним глазком взглянула. Большой такой. И старый.

— Старый! Не девка ты деревенская хороводы с парнями водить. О Федоре Юрьевиче каждый с почтением отзовется. Да и ты, сестрица, княгинюшкой станешь. Чем плохо?

— Да и, сказывали, не больно богатый, а у меня и вовсе ничего. На что только зарится, как нянька говорит.

— Нянька! С каких пор с холопками совет держишь, сестрица?

— Так с кем еще, государыня сестрица, потолковать, поплакаться? День-деньской одна, так и волком взвыть недолго.

— Вот оно и выходит: лучше замуж идти. На своем хозяйстве, со своими холопами. Что прикажешь, то и будет — батюшкиных распоряжений не ждать.

— Так почему меня, государыня сестрица?

— Почему-почему, лучше бы подумала, сколько лет тебе набежало, а с батюшкиным приданым не больно-то женихов ждать приходится. Да и не любят Салтыковых при дворе, Господи прости, как не любят. Чуть что, за спиной ляхов да польскую жизнь батюшки поминают.

— Нешто мы не православные, нехристи какие!

— Православные-то православные, а с Москвы к ляхам сбежали? То-то и оно. А почему тебя — так это Федор Юрьевич меня почитает. Один раз так и сказал: кабы мне супругу такую красивую да повадливую, да где ж искать.

— Тебе сказал?

— Как можно! Государыне вдовой Наталье Кирилловне, а она очень его за мысли такие похвалила. Вот оно как.

— А мне сказывали, вдовая царица Салтыковых ляхами обзывает. Может и князь попрекнуть.

— А на что ему, сама подумай? Таперича сестра ты царицына, и весь сказ. Никто князя не неволит. Выходит, расчет у него такой.

— Расчет?

— Не любовь же, Настасьюшка. Откуда ей до венца-то взяться.

— Да ты мне все-таки, бестолковой, про ляхов-то скажи.

— Что тут толковать. В самом конце Смуты дедушка наш Михаил Глебович в Польшу уехал, королю Сигизмунду служить. Перед вступлением на престол нынешних государей еще дело было. Не он один тогда выбирал.

— Сам уехал али в плен его взяли?

— Сам, сам, по доброй воле. С двумя сыновьями — Федором да Петром. Вере своей изменять не стали. Федор Михайлович потом под городом Дорогобужем православный монастырь основал. В нем и постриг принял, монахом Сергием стал.

— Святой человек, выходит.

— То-то оно, что не больно выходит. За старую веру он. Теперь для царевны правительницы худшим врагом стал.

— О Господи! Опять нехорошо.

— Да он нам приходится со стороны. Наш-то дедушка — Александр Петрович. Вот он-то в русское подданство после взятия Смоленска вернулся. Федором именоваться стал.

— Это значит, в Православие возвернулся? Капежником раньше был?

— Знать не знаю, сестрица. Да и тебе знать ни к чему. Православные мы с тобой и братец Василий, и весь сказ. На том и стоять нам положено. Государь Иоанн Алексеевич так мне сказал. Мне другого указу не надобно.

Что ни день, стала на чердачок царевна Софья Алексеевна подыматься. Одной посидеть: с мыслями собраться... Москва окрест как на ладони. Васенька сказал: государство обозреваешь, царевна.

Не понял. Не государство — от духоты дворцовой передохнуть. От лиц постылых. Липнут без дела. Слова ненужные говорят. Сестры так толпой и ходят: вечно о чем-то просят. Неймется каждой свой дворец устроить. О ее делах и думать не хотят. Марфа пожурила: не могут — так зачем они тебе?

Васенька прав. Надо бы каждую отделить. Содержание на год. Место. Как хочешь, так устраивайся. Не получилось — лежи в берлоге, лапу соси.

На французский манер! Оно для французов, может, и удобно, а у нас пригляд за каждой нужен. Неровен час чего удумают. Так деньгами распорядятся, что кровавыми слезами заплачешь.

Нет уж! Пусть из рук берут. За каждую копейку поклон кладут. Дело это не Васенькино — семейное.

И с Васенькой на сердце камень. Чего уж себя обманывать. Ни тебе муж, ни тебе полюбовник. Тени своей боится. По углам сам от себя прячется.

Развод! Развод ему нужен со старухой его. Кир Иоаким не откажет. А сам Васенька... Как о монастыре разговор зайдет, сожмется весь, губ не разомкнет. Неужто любит Евдокию? После стольких лет? После меня? Детей опасается. Внуков.

Размечталась, как в Благовещенском соборе венчаться станем чин чином. Как-никак царская свадьба. Молчит. Пнем молчит. И вдруг: «Государыня царевна! Ваше высочество! Мне бы рабом вашим на всю жизнь оставаться. Разве плохо, ваше царское величество?»

Плохо. Куда как плохо. Чужого к сердцу прижимаешь. Чужого! Да и слова сама говоришь. Что уж! Только сама. Он все в оборотах любезных рассыпается: ваше высочество царское, вселюбезнейшая государыня царевна, всемилостивейшая... Повторять тошно!

Кому признаешься? Марфе? Да и она Васеньке не благожелательница. Молчит, губ не разожмет. На все: твое дело, сестра, но... Вот на этом «но» все и стоит.

Чердачок чем хорош — никому ходу нету. С чего его государь придумал? Зимой холод. Полом да окнами тянет. Летом при государе никто в Москве не оставался. Прихоть царская. Его право.

Шаги. Никак, Васенька Голицын, мой ненаглядный? Кому, кроме него, быть? Васенька!

— Ваше царское величество...

— Опять за свое. Перестань! Одни ведь. Неужто стосковался, до времени приехал? Садись, садись, касатик мой.

— С вашего разрешения, ваше высочество, дело одно крайне обеспокоило. Решил самолично у вашего высочества уведомиться. Люди толкуют...

— О чем ты, Васенька?

— О Безобразове.

— А, об этом колдуне проклятом...

— Государыня, вы не уверите меня в том, что придаете значение всем этим толкам о чарах. Вы, просвещеннейшая особа, и вдруг такая расправа.

— Тебе-то что за печаль? Чего всполошился?

— Я не решусь напоминать вам, ваше высочество, о службе этого человека.

— Никакой особой службы и не было. Как все — не более.

— Не мне судить, ваше императорское высочество, но он в царской службе почти полвека. Стольник вашего родителя. Вы же решили его сослать на Терки в семьдесят пять лет.

— И что?

— Государыня, это возраст, когда от человека немыслимо ждать нужных вам дел. Семьдесят пять — это глубокая старость. Он просто не нужен вам. И — он просто вправе делать глупости, как с этими колдунами.

— Ты что — о прощении для него просишь, князь?

— Государыня, казнить и миловать — право сюзерена. Но снисходительность украшает монарха. К тому же старик Безобразов хотел всеми

силами быть вам угодным. Такое ли это преступление, что он выбрал смешной и неприятный вам способ?

— Быть угодным мне можно только службой, а Безобразов даже не соизволил поторопиться на Терки — сам себе устроил зимовку в Нижнем Новгороде.

— Дорога действительно очень далека и трудна, а для старика вдвойне.

— Он мог отказаться от назначения, если нет сил. Ты же знаешь, князь, он его вымаливал, и за свое снисхождение, о котором ты постоянно твердишь, я теперь поплатилась.

— Государыня, я не поднимал голоса, когда вы присудили воеводе быть в монастыре — в его возрасте это вполне понятно. Вы распорядились насильно постричь его старуху жену — у каждого наберутся грехи, чтобы их замаливать на старости лет. Но я узнал, вы заменили постриг смертной казнью.

— Это мое дело, князь! И перестанем об этом говорить.

— Государыня, даже рискуя навлечь на себя ваш гнев, не могу не сказать. Безобразов из старой служилой семьи, зачем пугать таким страшным примером другие роды? Вам нужны ваши дворяне — и сейчас как никогда.

— Вот именно сейчас Андрей Безобразов будет казнен. А возраст — вот вам Юрий Ромодановский. Они однолетки. Тем не менее Ромодановский и сейчас нам полезен.

— Даже под страхом вашего гнева, государыня, разрешите мне предпринять еще одну попытку смягчить ваше сердце.

— Вы ничего не добьетесь.

— И все же не откажите мне, государыня, еще в одной попытке. Речь идет не о Безобразовых — о тех, кто верно служил вашему царствующему дому.

— Василий Васильевич, моему терпению есть предел.

— Да, да, государыня. Я просто хочу напомнить, что вы обрекаете целый род на угасание. Стоит ли это делать?

— Не думала, что из-за одной головы будет столько разговоров.

— Государыня, у Андрея Ильича есть два родных дяди. Из них Никита Ильич был убит на Ходынском поле перед избранием царя Василия Шуйского. Он оставил двоих сыновей, но оба не женились и не оставили потомства.

— Могли и жениться.

— Но этого не случилось. А второй дядя, Еремей-Василий Кузьмич, что занимался Немецкой слободой, вообще не женился.

— И как бы поправил их родословную Андрей Ильич в свои-то годы?

— Конечно, не поправил бы, но тогда в прекращении Безобразовых сказалась бы Господня воля, и никто бы не мог толковать о царской беспощадности. Государыня, подумайте...

— И это все, ради чего ты искал меня, Василий Васильевич? Ступай с Богом, тотчас ступай. Я своих решений менять не стану.

Потешные

Из донесения тайного саксонского агента

Высокочтимый граф!

Тороплюсь с отправкой сего письма, ибо произошедшие в России события действительно необыкновенны и могут иметь самое существенное влияние на все последующие действия ее правительства.

С сожалением должен написать, что правление мудрой и просвещеннейшей принцессы Софьи пришло к концу. Она лишена власти, которая отныне переходит к ее двум коронованным братьям, представляющим два открыто враждующих семейства. Если царь Иоанн происходит из довольно знатной и многочисленной семьи Милославских и к тому же окружен сонмом очень деятельных и небезразличных к власти сестер, то

партия младшего — Петра — пока почти не просматривается в жизни двора. Его единственная опора — царица-вдова, его мать, и двое-трое придворных, назначенных в штат принца еще при его покойном брате царе Федоре.

Хотя внешне между братьями сохраняются вполне толерантные отношения, как все сложится в дальнейшем — не берется предсказать никто, хотя многие считают, что единственным правителем станет царь Петр. Царь Иоанн и царь Петр совсем не похожи друг на друга. Иоанн очень красив. Он высок, худощав, с бледным лицом аскета и большими, несколько как бы потухшими глазами. Независимо от обстоятельств он предпочитает черную одежду, которая, кстати сказать, очень выгодно подчеркивает его внешность. Его обычное времяпрепровождение — молитвы в собственной молельной или в храмах, которые он усердно и ежедневно посещает. Полный контраст ему представляет его полная, румяная, пышущая совершенно крестьянским здоровьем жена, на которую он, впрочем, не обращает никакого внимания. Детей у царственной четы нет, и в Москве склонны винить в этом обстоятельстве болезненного и замкнутого супруга.

Царь Петр — полная противоположность сводному брату. У него более простоватая внешность. Его трудно назвать красавцем, но бьющая из него жизненная энергия даже не позволяет отдать себе в этом отчета. Темноволосый, темноглазый, крепкого телосложения, он все время находится в движении, а точнее сказать — в действии. Он абсолютно равнодушен к книгам, которыми интересуется царь Иоанн, не играет на музыкальных инструментах — говорят, его этому в детстве не научили, — не склонен к светскому общению. В Москве говорят, что в детстве у принца даже не было игрушек, но не потому, что ему их не давали, а потому, что принц интересовался буквально с пеленок одним военным делом. Солдаты, военный строй, разбор всяческих исторических сражений — его единственное и постоянное развлечение. Его не привлекает ни конная езда, ни даже охота, которую он считает бессмысленным занятием. Вообще, для своего юного возраста у него очень много уже четко сложившихся представлений, от которых он не имеет обыкновения отступать. Его супруга представляет совершенно безгласную и неприметную фигуру. Она не имеет никакого влияния на супруга, зато успешно отметила свой брак рождением сына, которому дано имя Алексея.

Звездочеты в Московском государстве отмечают на редкость благоприятное стечение обстоятельств именно для Петра. Его наследник родился буквально сразу после лишения власти правительницы Софьи. Вскоре ушел из жизни и патриарх Иоаким — фигура, которая, как говорят опытные люди, мало уступала покойному Никону в своем стремлении утвердить власть ортодоксальной церкви над государством и тем более всеми другими многочисленными в Московском государстве конфессиями. Именно в этом плане он даже оставил завещание братьям-царям, однако проповедь иерарха и даже угрозы не возымели предполагаемого действия. Общая тенденция сближения с Западом, проявившаяся при принцессе Софье, кажется, может только усилиться при ее преемниках. Но в этом строить предположения пока рано. Зато сегодня можно с определенностью сказать, что в Москве появилось две столицы. Царь Иоанн предпочитает проводить время в подмосковной деревне Измайлово, окруженной почти крепостными стенами, с превосходными, как говорят, садами, прудами, охотой, зверинцем и прочими царскими развлечениями. Царь Петр душой и телом предан Преображенскому — при всех его неудобствах и стесненности. Спешно выстроенный им для себя дворец скорее можно назвать большой избой безо всяких особых удобств, украшений и внутренней отделки.

Резиденция младшего царя более походит на солдатский лагерь, где все подчинено военному распорядку, а сам рубленный из бревен дво-

рец стоит на высоком берегу реки Яузы, безо всякого сада, словно палатка главнокомандующего. Примечательно, что своей супруги царь Петр там не поселил и на недели оставляет ее в полном одиночестве в столь не любимых им кремлевских теремах. В Преображенском он чувствует себя совершенно свободным ото всех обязательств — и семейного человека, и даже государя. Среди тех немногих людей, с которыми он, по сути, не расстается, едва ли не первое место занимает князь Ромодановский, который также деятельно помогает царю Петру в его военных забавах, или, скажем осторожнее, занятиях. Царь Петр постоянно советуется с ним, хотя вообще, говорят опытные люди, советчиков не терпит, принимает от него выговоры, а их опоры вошли здесь в пословицу. Это тем более удивительно, что князь Ромодановский — вполне зрелый, а по московским представлениям и вовсе начинающий склоняться к пожилым летам человек, как и другой неизменный спутник государя, но главным образом по канцелярским делам, его былой учитель Никита Зотов.

Если в Измайлово направляются редкие экипажи, то Преображенское кипит жизнью. Дорога к нему проложена без преувеличения сотнями лошадей, экипажей и пеших, которые спешат найти себе занятие в военных развлечениях царя. Судя по хотя бы этим чисто внешним признакам, у Преображенского более многообещающая перспектива.

Видеть царя Петра не представляет никакого труда. Он постоянный бывалец так называемой Немецкой слободы — скопления очень разных по происхождению, воспитанию и жизненному статусу иноземцев. В большинстве своем это наемные офицеры и солдаты русской армии, которыми широко пользовался еще отец нынешних царей. По службе они получали здесь земельные участки, а вместе с ними и право на строительство своих жилищ по своему усмотрению. Поэтому самые скромные строения (но непременно на западный манер, в зависимости от родины хозяина) соседствуют с настоящими дворцами, окруженными правильными, хорошо ухоженными садами.

Царь Петр не делает различия между общественным положением жителей Немецкой слободы, и его можно застать гостем в любом доме. Особенно он любит застолья по поводу разного рода семейных праздников, крестин, свадеб, именин.

Не могу поручиться за точность информации, но говорят, у царя Петра здесь появилась любовница, к которой он якобы совершенно открыто приезжает, а нередко и остается ночевать. Это дочь некоего торговца, и будто бы царь уже начал приглашать в ее дом гостей от своего имени — случай совершенно невероятный для московских нравов.

Думаю, в самом недалеком будущем удастся определить, каков расклад сил у московского правительства и какое направление им будет избрано в отношении с европейскими государствами.

Кто тут речет? В палатах Натальи Кирилловны гость.

— Звала, государыня-царица?

— Звала, Федор Юрьевич, звала и еще как ждала, кажется, все глазоньки в окошко проглядела, тебя дожидаючись. Неторопкий ты какой, князь.

— Не вели, государыня, казнить, вели миловать: государь Петр Алексеевич не отпускал. Сама знаешь, у него все с лету должно быть по его воле исполнено.

— Потакаешь ты ему, Федор Юрьевич, и всегда потакал. Пеняла же я тебе.

— Виноват, государыня, кругом виноват. Да только и ты сама посуди, государевой воли не исполнить, а он тогда и вовсе кого хошь взашей выгнать может. У него, сама знаешь, не задолжится.

— Все знаю, Федор Юрьевич, оттого и помощи твоей искать стала.

— Да ты, никак, и впрямь закручинилась, государыня.

— Которую ночь глаз не смыкаю.

— Да полно, государыня, теперь-то что за печаль? Аль недужится тебе, не приведи, не дай Господи?

— Полно, полно, князь, на здоровье мне грешить нечего, а вот Петруша...

— Государь Петр Алексеевич? О чем это ты, государыня?

— Об играх его военных, Федор Юрьевич. Ой, не будет с ними добра, ой, не будет! И с чего это Петруша за них принялся в эти-то годы?

— А ты, государыня, про потешных-то наших помнишь ли?

— Как не помнить. Покойный государь малых робяток велел набрать для потехи Петруши. Еще для смеху их Петровым полком назвал. Соберутся вместе, Петруша командует, а там иной не то что команду какую выполнить, еще на ножонках-то еле стоит. Вот и пошло — потешные.

— А дальше что было?

— Как Петрушу царем выкликнули, велено было в Кремле, у самого дворца, потешную площадку для его забав сделать. Царь-то царь, а в возраст еще не вошел. Только я полагаю, хотела правительница Петрушу перед глазами иметь, ни на минуту без своего досмотру не оставлять. Петруша и взбунтовался — все свои игры с робятками в чистое поле перенес. Ему уже двенадцатый годок пошел, а на вид так и все шестнадцать можно дать.

— Твоя правда, государыня, Петр Алексеевич никогда досмотру да приказов чужих терпеть не мог. А в чистое поле отправился не только из-за царевны, он тем временем — сам мне сказывал — уже к маневрам перешел. Ему и впрямь место большое стало надобно. Вот и выбрал Преображенское.

— А что бы еще мог? Другого нам с ним и не дадено было. На юру да крутояре, чтобы всеми ветрами продувало, всем глазам открыто было.

— Вот тогда-то и присоветовали мы ему наставников настоящих военных из слободы Немецкой взять. Все по правилам военным делать.

— Ты присоветовал, Федор Юрьевич?

— Не я один, государыня. Дело тут уж серьезное началось.

— Какое серьезное, Федор Юрьевич? Это в Петрушины-то младенческие годы?

— Долгое же у тебя младенчество, государыня, выходит. Петр Алексеевич наш в те поры уже все книги по военному делу читать принялся, да еще как прилежно. В Преображенское мы с весны 1683-го перебрались, а годом позже почали крепостцу и городок Прешбург на берегу Яузы возводить — чай, помнишь?

— Как не помнить! Петруша тогда и с топором, и с лопатой спознался. Такие бобли на руках натирал, страх смотреть. С той поры руки у него, как железо, жесткие. А еще государь!

— Тут уж его воля, государыня. Как с государем поспоришь? А крепостцу соорудили, начали вокруг нее осады да штурмы устраивать.

— Есть чем похвастать! Петруша весь в синяках да ушибах. Один раз так глаз заплыл — думала, одноглазым останется.

— В ратном деле, государыня, синяки да шишки в счет не идут. Жизнь на кону стоит, вот что.

— Ратное дело! Князь Голицын, помню, вроде как ненароком завернул, посмеялся. Обидно так стало.

— «Ненароком»! Лучше скажи, государыня: правительница его прислала — больно много разговоров по Москве пошло о маневрах наших. Да, Господь сохранил, ничего-то князь в делах военных не понимал, вот на Прешбург наш внимания и не обратил.

— Выходит, зря я тогда обиду глотала.

— Зря, государыня, как есть зря. А уж как государь наш от царевны правительницы избавился, тут уж стало можно во всю силу развернуться. Из потешных два полка устроить — Преображенский и Семеновский. Обученные, обмундированные — любые европейцы в зависть впадут. Надо

полагать, и в деле настоящем не оплошают. Вот тогда, государыня, ты и печалиться за сынка перестанешь.

— Уж не знаю, Федор Юрьевич, утешил ты меня или вконец напугал. О настоящей войне я и не думала.

— А как же истинному государю да без ратного дела? Всякое государство на войнах стоит, войнами держится.

Опять князь Ромодановский свое гнет:

— Дела-то твои неделями тянутся, государь, а государыне родительнице обидно. За что огорчаешь царицу? Ведь права она, Петр Алексеевич, нешто не права? С чего ты начинал? Уму-разуму решил у иноземцев учиться. Неплохое дело. Только за делом гулянки потянулися. Оно известно, смолоду гулянка слаще работы-то. А тут еще Франц Яковлевич...

— Не любишь Лефорта, Федор Юрьевич, ой не любишь.

— Не девка твой Лефорт, чтоб его любить, а пьянство у него началось, на его доме и держится.

— Да что ты пристал: «пьянство, пьянство». Ну пошумят гости...

— Подерутся.

— И так случается. Никто не в обиде. Зато где еще обиходу да обхожденью европейскому научиться? Ты гляди, по-польски-то танцевать у него я научился. Разве не так?

— А хоть и так, нужны тебе эти пляски!

— Э, нет, погоди, погоди, царь Плешбурской! Сын датского комиссара Бутенант меня и фехтованию, и верховой езде учит.

— Не смеши, государь, кто б это не умел на лошади-то сидеть!

— Сидеть — может быть, а вот по-кавалерски ездить — это, царь Плешбурской, большая наука.

— Особливо после великого возлияния. Да еще хорошо бы притом коня от тына отличить — не ошибиться.

— Все насмешничаешь, государь Плешбурской. А мы знаешь, что сделаем? Собрание такое с великими возлияниями и потехами, собор, скажем, всепьянейший и всешутейший. И чтоб правила свои были, и одежки бы соответствовали. Такие церемонии разведем — любо-дорого! Тогда никто о дебошстве заикаться не посмеет. Ну что, каково?

— Твоя воля, государь. Не огорчить бы пуще государыню родительницу.

— Что ж, полагаешь, всю жизнь мне под надзором да отеческим окриком проводить придется? Не бывать этому! Пусть матушка, коли охота, пожурит. Я в ее дела теперь не мешаюсь, хочет государством управлять — пущай пробует. Дьяки и так лишнего сделать не позволят, да и ты присмотришь, правда, Федор Юрьевич?

— Дитё ты все, Петр Алексеевич. Когда только за ум возьмешься, о державе печься станешь?

— А как про Белое море скажешь, царь Плешбурской? Шалить, что ли, мы с тобой туда ездили али выхода к морю для державы нашей искать?

— Что и говорить.

— Вот ты и помалкивай до поры до времени. Белое море не подошло: неудобств разных много, пойдем другого, удобнейшего искать. А царь Федор Плешбурской, каково тебя ноженьки после вечерошнего загула носят? Думал, не добредешь, государь, до нашей съезжей избы, а ты вон получше меня: и за голову не держишься, и в глазах вроде тумана нету.

— Ведро рассолу огуречного принял, вот и смог пред твои очи, Петр Алексеевич, явиться. Погудеть вчерась, и то правда, знатно погудели. Вот только...

— Чего запинаешься, царь Плешбурской? Твоему величеству оно как есть не к лицу.

— А то запинаюся, что опять государыня матушка меня к себе кличет. Не миновать выволочки, и за дело. Как мне родительнице твоей твои

погудки объяснять. Уж, кажется, чего не придумывал, а после вчерашнего ведь двое преставились. Поди скрой от царицы!

— Кто донес?

— Да перестань ты, государь, зазря-то разборки устраивать. Такое дело не скроешь. Ответ держать перед государыней надо, вот что. И не мне, грешному, а тебе, по-сыновнему твоему долгу.

— Не пойду к матушке. Скажусь, дел невпроворот. Переделаю главные, тогда явлюся.

Из донесения тайного саксонского агента

Высокочтимый граф!

На этот раз мое письмо будет скорее напоминать донесение с полей сражений. Здесь действительно развернулись совершенно неожиданные по размаху и результатам события, которые можно квалифицировать как репетицию к большому военному походу.

После долгих и не слишком вразумительных военных игр на берегу Яузы у специально сооруженного военного городка, получившего имя Плешбург, государь Петр решил развернуть настоящие маневры с участием — в это трудно поверить — более чем пятнадцати тысяч человек, и все это рядом со своим Преображенским.

К Кожуховскому походу, как его здесь стали называть, готовились долго и тщательно. В конце концов предпочтение было отдано плану, разработанному генералом Гордоном, который заведует инженерной частью. Местом проведения маневров стала земля деревни Кожухово, в трех верстах от столицы, предоставленная ее владельцем — князем Федором Ромодановским. Утверждают, что князь ничего не взыскал с царя даже за произведенную потраву и частичное разрушение строений.

Напротив этой деревни была сооружена земляная крепость, названная Безымянным городком. Крепость должны были защищать регулярные стрелецкие части под командованием Ивана Бутурлина, осуществлять штурм бывшие потешные полки под командованием князя Федора Ромодановского.

Иван Бутурлин получил в свое распоряжение около восьми тысяч стрельцов, дворян и дворовых людей. Он обстоятельно укрепил Безымянный городок, который оставил под начальством генерала Трауернихта, а сам расположился лагерем позади него.

Князь Федор Ромодановский располагал четырьмя полками: Лефортовым, Бутырским, Семеновским и Преображенским, во главе которого в качестве бомбардира шел сам царь Петр. Ему же придали еще несколько рот различных войск. Как вы можете убедиться, все обстояло вполне серьезно.

Сражение было назначено на 29 сентября и, по расчетам царя Петра, должно было продемонстрировать блестящую выучку потешных, которым предстояло в один день завершить военные действия и взять крепость. Однако этот план потерпел полное фиаско, о чем вы можете судить по происходившим событиям, которые теперь повсеместно обсуждаются в Москве.

В первый день генерального сражения стрельцы формально были разбиты. Осаждающим даже удалось построить два редута, несмотря на частые и небезуспешные вылазки стрельцов. Царь Петр лично захватил в плен стрелецкий полк некоего Сергеева. Но сражение было признано беспорядочным и никак не отвечавшим правилам военного искусства, в которые царь Петр беспрекословно верит.

Первый приступ крепости, по точно соблюдаемым правилам, состоялся 4 октября, когда царь Петр распорядился нагрузить две специально устроенные длинные телеги зажигательными составами и пустить их че-

рез ров. Однако ров оказался для повозок неодолимым препятствием, и они сгорели, не достигнув стен и, соответственно, не причинив им ни малейшего вреда. Само сражение на валу продолжалось целых два часа. Осажденные оборонялись с отчаянной отвагой, но крепость «пала», а ее комендант «взят в плен».

Тем не менее результат совершенно разочаровал Петра, и он назначил новую осаду крепости на 9 октября. Причем все пленные были, естественно, отпущены и получили неделю на отдых. Новая осада продолжалась до 15 октября, то есть шесть дней, после чего вал был разбит миной и укрепление взято. Однако, несмотря на такое поражение, стрельцы Ивана Бутурлина сумели после него укрепиться в лагере, где оказывали сопротивление еще целых три дня.

Военные специалисты говорят о недостаточной подготовке так называемых потешных и, наоборот, о превосходных воинских качествах стрельцов. Несомненно, эти разговоры доходят до слуха царя Петра, который пребывает в крайне раздражительном состоянии. Что ж, слепая вера во всемогущество теории еще раз не оправдала себя. Результат — двадцать с лишним убитых и полсотни серьезно раненных, часть из которых останется инвалидами.

Ходят слухи, что, разочаровавшись в маневрах, царь Петр готовится перенести свои опыты на поля настоящих сражений и приступил к выбору противника, против которого направит свои полки.

Зима выдалась снежная, вьюжная. Ветер ровно со всех сторон сразу задувает — дышать невмочь. Горло перехватывает. Иной раз и с ног сбивает. Одиноко царевне Наталье, ох одиноко.

Сугробы наметает у домишек под самую крышу. Только что по утрам людишки норы к улице прокапывают. Ночами звезд месяц целый не видать. Клубится снег от самой вышины до земли.

Уж как вдовая царица тем разом весны ждала. Хоть бы оттепели. Под январь в Москве частенько солнышко пригревать начинает. На водосвятие и вовсе весну вспоминать начинаешь.

Не дождалась, сколько в окошко ни выглядывала. Жалилась царевне Наталье: Петруши нету. Опять день прошел, не заехал. И какие такие дела у него? Ты с ним, бывалоча, не один раз в Немецкую слободу ездила, — что сказать-то можешь?

Где Наталье Алексеевне сказать! О возлияниях неумеренных. О танцах на всю ночь. Как гости подопьют да напляшутся, то иным разом в туалетах ассамблейных прямо на снег дотанцовывать выходят.

Думала про себя не раз: не нарочно ли Франц Яковлевич гудения-то эти поддерживает, денег на них не жалеет, чтобы только Петрушу возле себя удержать. Верно ли, нет ли, кто знает.

Не поняла: конец матушке приходит. Мечется она от немочи. Места себе от хвори не находит. Грешила: нрав свой тешит.

Один раз Федору Юрьевичу попеняла. Строго так посмотрел. Обещался сказать Петруше.

Сдержал слово. Петруша раз-другой заехал. Веселый такой. Кафтан нараспашку. Винищем потянуло. Поди, еще со вчерашнего дня — дело утром было.

Матушку не то что успокоил, еще больше перебаламутил: стал о походе к теплым морям рассказывать. Государыня всполошилася: «И когда же это, Петруша, будет?» — «Известно, летом». Поуспокоилась: до лета еще дожить надо. Не дожила. В Вознесенский монастырь проводили. Рядом со всеми московскими царицами да великими княгинями положили. Петруша как окаменел. В губы долго целовал. Руку слезами залил. А ни слова не вымолвил. Громко так прощения просил.

Кир Адриан поддержал: нет, говорит, прегрешения у сына такого, чтобы родная мать не простила. Так уж от Господа положено. Не убивай-

ся, государь. Теперь твоя родительница за тебя всех святых молить станет, во всем поможет.

Может, и так, а во дворце сразу пусто стало. Будто захолодало. Петруше-то что. Царевна — другое дело. Кир Адриан сказал, до сорокового дня не полегчает. Перетерпеть надобно. Божьей воле не противиться, слезами по покойнице не грешить.

Федор Юрьевич что родной батюшка. Один только и спросил: «Где жить будешь, государыня-царевна?» — «По моему разумению — вместе с братцем». — «Вам друг друга ой как держаться надобно. Кончились теперь у государя легкие деньки да забавы. Один он теперь за все в ответе».

Из донесения тайного саксонского агента

Всемилостивый граф!

Кажется, мне удалось с помощью моих достаточно многочисленных осведомителей узнать заранее реальные жизненные планы царя Петра.

Произошедшие здесь события могут показаться незначительными только далекому от московского двора человеку. Внезапно, и притом совсем молодой, скончалась мать царя Петра, вдовствующая царица Наталья. Ей было всего сорок три года. Она не жаловалась ни на какие недуги, не обращалась к здешним медикам и не искала местных, народных, как это часто бывает в Москве. Смерть ее поразила прежде всего сына.

Все единодушно признают, что царь Петр был необычайно привязан к своей матери, до конца сохранявшей следы редкой красоты, которая и обеспечила ей московский престол. Царица Наталья была честолюбива, но не столько за себя, сколько для сына. Решительная, властная, она тем не менее не имела ни малейшего влияния на своего обожаемого сына.

Придворные утверждают, что царь Петр открыто тяготился материнской опекой и наставлениями, откровенно игнорируя все ее просьбы. Здесь рассказывают, какие сердечные письма он посылал умершей царице из Архангельска, куда поехал с целью найти место для будущего могучего порта. Но на все ее просьбы ускорить свое возвращение — она, видимо, предчувствовала свой близкий конец — отвечал самыми туманными обещаниями. Он поразил воображение тамошних иноземных купцов тем, что разгуливал по городу и порту в обыкновенном матросском платье, свободно болтая на голландском языке, уроки которого давно и прилежно берет у дьяка голландца Виниуса. Подобное общение с голландскими купцами и моряками явно доставляло неизмеримо большее удовольствие, чем возвращение в Москву. По возвращении же, едва обняв мать, поспешил к своей любовнице в Немецкую слободу, забыв совершенно о существовании супруги и сына.

Покойная царица сама выбрала себе невестку, но, как говорят, год от года все больше разочаровывалась в ней, несмотря на столь нужное для престола рождение наследника. Она мечтала о каких-то иных, более достойных, по ее мнению, партиях для своего сына и, кажется, сообщила и ему направление своих мыслей. Во всяком случае, несмотря на недопустимость в Московском государстве существования любовниц, царица Наталья лишь очень слабо бранила царственного сына и никак не настаивала на его постоянном пребывании с семьей, тогда как невестка уже не первый год утопает, как рассказывают, в слезах, не видя поддержки ни с чьей стороны.

Кончина царицы если и нанесла болезненный удар царю Петру, то одновременно развязала ему руки. Он сразу же публично объявил о создании всешутейшего и всепьянейшего собора, шутовского собрания, имеющего в виду одинаково ироническое отношение к власти и духовной, и светской. Первые заседания собора уже прошли в Преображенском и произвели на многих очень странное впечатление, когда насмешки над княз-

ями церкви и вообще церковниками отпускаются и обильно заливаются вином в комнатах, сплошь увешанных православными иконами.

Против подобных «соборов» явно бы возражали покойная царица и покойный патриарх. Нынешний глава Православной Церкви не обладает ни амбициями, ни волей своего предшественника. Именно за это его жалует царь Петр, который охотно бывает в патриаршей резиденции, вблизи очень красивой московской речки Пресни. Говорят, усадьба патриарха превосходно обихожена, располагает всеми мыслимыми удобствами для жилья, и, поскольку езды до нее от Кремля не более получаса, патриарх и царь Петр встречаются там постоянно.

Царя обычно сопровождает его довереннейший приближенный — князь Федор Ромодановский.

Ходят слухи, что в настоящее время собеседники обсуждают план действий под крепостью Азов, при впадении реки Дон в Азовское море. Скорее всего, царь Петр усматривает в подобной военной кампании ключ к выходу России в Черное море. Далеко не слишком удачные маневры под Кожуховом (я уже имел честь писать вам об этом подмосковном селе князя Федора Ромодановского) заставляют усваивать полученные уроки, на чем преимущественно настаивает князь. Царь Петр по своему характеру готов бросаться в дела, не размышляя о тщательной подготовке. Редкая физическая сила и совершенно отчаянная храбрость словно толкают его на импровизированные и далеко не всегда обоснованные действия.

Мысли все у царевны черные, недобрые.

Поторопился, поторопился государь на Азов идти. Да разве ему скажешь! Может, и после кончины матушки заспешил: то ли свободу почуял, то ли только забыться захотел.

К себе сразу после погребения государыни царицы позвал.

— Знаю-знаю, Федор Юрьевич, о чем толковать станешь. Чтобы мне за государственные дела усаживаться. От Ивана проку никакого — значит, мне теперь надобно. Там хоть матушка присмотреть могла, а теперь...

— Не то, великий государь, что Иоанн Алексеевич делами не занимается. Это-то слава Богу. Хуже будет, если советчики какие его в руки возьмут.

— Прасковьюшка не допустит.

— Думаешь, государь? А ведь грех никогда не спит. О Юшкове сам знаешь. Пока головы не подымает, а подсказать да подучить всегда сможет.

— Не на воду ли дуешь после царевны-правительницы, Федор Юрьевич?

— А ты сам, государь, посуди. Сколько лет Иоанн Алексеевич с Прасковьей Федоровной в браке прожили, детей прижить не смогли. А как Юшков делами царицыными занялся...

— Девки-царевны, как горох, что ни год посыпались. Да бог с ней, время на нее тратить. Пусть твоя супруга получше за сестрицей приглядывает.

— Об этом, государь, не беспокойся. Настасья глаз с царицы не сводит.

— Вот и ладно. А теперь вот что я тебе, Федор Юрьевич, сказать хочу. Не по душе мне за бумагами сидеть, писарскими делами заниматься, тем паче весь распорядок дворцовый соблюдать. И не толкуй ничего, не стану.

— Как иначе, великий государь? Не нами заведено, и все для представительства царства твоего.

— Знаю. А решил я эти свои обязанности располовинить.

— Как это? Не пойму, государь, как такое возможно.

— А очень просто: ты писаниной да переговорами заниматься будешь, а я делами военными. Ты выряжаться да гусем выступать повсюду станешь, а меня ослобонишь.

— Погоди, погоди, государь!

— И годить мне нечего. Как сказал, так и будет. Тебе как самому себе доверяю. Не был моим дядькой, это верно. А учил всегда, многому учил.

Вот и займешься всеми делами. Сам знаешь, какие нам предстоят военные кампании. Я ими займусь, а уж ты мне поможешь. И ответов твоих никаких слушать не желаю. И хорошо бы, чтобы ты еще и в наряд царский наряжаться стал. В платье большого выхода.

— Да ты что, государь? А государь-братец?

— А, Иван-то...

Из донесения тайного агента

Всемилостивейший государь мой!

Памятуя ваш наказ о скорейшем разознании обстоятельств российских, и прежде всего подлинной роли каждого из ближайшего окружения российского государя, пишу сразу же не столько по собственным впечатлениям — да это было бы и невозможно ввиду пребывания интересующих меня лиц на разных фронтах и участках военных действий, — но по сведениям, на скорую руку собранным от проживающих здесь на удивление многочисленных иностранцев.

Мне было сказано, что русский государь имеет свою так называемую «компанию», с членами которой находится в нарочито коротких и свободных отношениях. Государь обязывает ее членов обращаться к нему, в том числе и письменно, только на «ты», и причем в панибратском тоне.

Возможно, царя Петра подобная неожиданная для русского двора фамильярность чем-то и развлекает, но окружающие уверяют, что все члены «компании» чувствуют себя явно неловко и понимают условность подобной фамильярности.

Но, само собой разумеется, главное — имена. Они все достаточно именитые и громкие, причем представители самых древних и прославленных родов смешиваются с незнатными иностранцами. Все говорят между собой на чудовищной смеси русского, польского, голландского и немецкого языков. Очевидцы уверяют, что это подлинная Вавилонская башня, которая тем не менее никого не смущает. Так же сумбурно и со смесью языков ведется частная переписка. Царю Петру доставляет особое удовольствие, когда корреспонденты используют иностранные словечки, выражения и уж тем более подписываются своими именами на иностранный лад.

Верховодят в царской «компании» два совершенно разных человека: неизвестного происхождения Александр Меншиков, явный царский фаворит, неизвестно откуда появившийся и неизвестно каким образом представленный царю. Соображений и предположений на этот счет высказывается великое множество, но правдивость всех одинаково сомнительна. Одно верно: при дворе любимой царской сестры царевны Натальи живет сестра Меншикова со своеобразным русским именем Анисья, явно не получившая никакого образования и, если не считать пышнейших нарядов, вполне похожая по обхождению на дворовую, как здесь говорят, «девку».

Зато второй — представитель одного из знатнейших и древнейших русских родов князь Федор Ромодановский. К тому же князь по крайней мере на тридцать лет старше царя и его любимца. Разница в возрасте нисколько не мешает им пребывать в самых тесных дружеских отношениях.

Следует добавить, что князь враг европейского обихода, о чем говорит совершенно открыто и даже в присутствии царя. Царь не только снисходительно относится ко вкусам князя, но и явно мирволит его склонности к старорусскому платью, кстати сказать, очень живописному, но главное — невероятно дорогому. Боярская одежда — это одежда, которой не смогут себе позволить многие владетельные герцоги. В ней много парчи, золототканой или с серебряными нитями. Шуба непременно подбивается

соболем, которым оторачивается и высокая шапка, часто шитая удивительно крупным жемчугом.

Мне довелось видеть на князе Ромодановском так называемый «охабень» — длиннополую одежду вроде шубы, но без рукавов, также подбитую мехом, на этот раз горностаевым. Петлицы на груди князя были золотыми. Сапоги белые, в которые заправляются также белые штаны. На мой взгляд, это причудливая смесь польских и немецких мотивов, которая не создает носящему ее человеку особых удобств, если не сказать наоборот...

Те несколько раз, что мне довелось видеть князя, его верхняя одежда была застегнута на груди фибулой с крупными драгоценными камнями.

Самое удивительное — возрастная разница между этими двумя самыми влиятельными около монарха людьми. Князю Ромодановскому за шестьдесят, Меншиков — ровесник государя и, значит, почти на тридцать лет моложе. Между тем в манере обращения этих трех десятков лет не замечаешь.

Не менее значительны в здешней государственной и дипломатической жизни имена Федора Апраксина, Федора Головина, Гаврилы Головкина, а также двух иностранцев — Андрея Виниуса и Адама Вейде. Оба заслуживают того, чтобы рассказать о них поподробнее.

Андрей Виниус потомок ни много ни мало амстердамского купца, поселившегося в 1620-х годах в Москве. Его отец получил в 1631 году жалованную царскую грамоту на право свободной торговли хлебом, но этим не ограничился, дух предпринимательства привел его в сравнительно недалекую от Москвы Тулу, где он спустя каких-то два года основал первый в здешнем государстве чугуноплавильный и железоделательный оружейный завод.

Этот первый по времени Андрей Виниус, которого русские звали на свой манер Денисовичем, был полностью удовлетворен результатами своих усилий и в 1646 году совершил еще один, но уже решающий шаг к сближению с Московским государством. Он принял Православие, что иностранцы, как бы ни процветало их дело, совершают крайне редко. Смена конфессии усиленно поддерживается и материально поощряется русским правительством. Амстердамский купец тут же был записан в московские дворяне. Вступивший на престол юный царь Алексей Михайлович сделал его советником своего правительства по государственным делам.

Вам известна, всемилостивейший государь, роль города Архангельска в торговом общении Московского государства с европейскими странами. Именно туда, в устье Северной Двины, прибыли в годы правления могучего царя из династии Рюриковичей корабли английской торговой компании. Оттуда они отправились в Москву и получали от Ивана Грозного право беспошлинной торговли, а также двор в самом центре Москвы, у главных ворот городской крепости — Кремля, который и поныне сохраняет название Старого Английского двора.

Прошу прощения за столь обширное отступление, но мне оно показалось необходимым, чтобы в полной мере оценить службу Виниуса-старшего для русского царя. Именно этот новый подданный представил проект укрепления Архангельска, по отзывам специалистов, на редкость удачный.

Виниусу-старшему все же довелось побывать на родине. В 1662 году царь Алексей направил его с торговой миссией в Голландию. Эта поездка оказалась для советника роковой: сразу по возвращении в Москву он скончался.

Виниус-младший в действительности относится к старшему поколению около царя Петра. Он ровесник князя Ромодановского и пользуется неизменной доверенностью царя Петра, который принял его в наследство от своего родителя.

К моменту кончины отца Виниус-младший уже состоял переводчиком Посольского приказа, очень неплохо владея несколькими европей-

скими языками. Говорят, что, в частности, он давал царю Петру уроки голландского языка, которым монарх владеет настолько свободно, что ведет перевод с русского на голландский и наоборот, не затрудняясь ни в одном выражении.

В год рождения нынешнего государя Виниус-младший был направлен со сложными дипломатическими поручениями во Францию, Испанию, Голландию и Англию. Своим неплохим знакомством с иностранным обиходом русский государь во многом обязан именно ему.

Двухлетняя миссия закончилась для Виниуса-младшего производством, подобно его отцу, в московские дворяне. И одновременно Виниус-младший получает в свои руки все почтовое дело в Московском государстве, которым руководит почти четверть века.

Но у московского царя есть склонность: чем больше он доверяет человеку, тем больше возлагает на него обязанностей. За время своей ответственности в отношении почтового дела Виниус-младший руководит Посольским и Аптекарским приказами. С 1694 года он становится еще и начальником так называемого Сибирского приказа, который ведет все виды геологических и геодезических изысканий.

Наконец, — что кажется уже совершенно невероятным, — он возглавляет Приказ артиллерии, да еще основывает по приказу царя в Москве артиллерийскую и навигационную школы.

При этом Виниус-младший занимается переводами особо ценимых государем научных трактатов, собирает огромную библиотеку и обращается к коллекционированию рисунков, гравюр, разнообразию которых, по словам очевидцев, может позавидовать не один европейский коллекционер. Он много и обстоятельно переписывается с царем в очень дружеском, если не сказать — приятельском тоне.

Но что мне показалось особенно удивительным: Виниус-младший предпочитает европейской старорусскую одежду, что явно сближает его с князем Федором Ромодановским. Также в русское платье одеты его дочь Екатерина и ее супруг Алексей Калитин, стольник по полковой службе, в 1699 году состоявший приставом при шведских послах. Я видел господина Виниуса в великолепном охабне на соболевой подкладке, шелковом кафтане на манер польского и с отличными перчатками в руках.

Адам Вейде человек совершенно иной закваски. Его можно было бы назвать настоящим солдафоном, не интересующимся ничем, кроме собственно армейских дел. Всего на пять лет старше государя, он начал свое восхождение на дворцовый Олимп со службы в знаменитых «потешных» юного Петра. Говорят, его отличали редкая выносливость, особенно ценимая государем смекалка и упорство в достижении любой поставленной цели. Один из сослуживцев Вейде заметил, что он никогда не дает себе труда рассуждать, предпочитая сразу же действовать. Так ли это, не могу сказать.

Во всяком случае, Адам Адамович, как его в Москве называют, успешно участвовал в обоих Азовских походах Петра и приобрел широкую известность благодаря участию в пышнейших празднованиях, организованных по этому поводу на улицах Москвы.

Именно Адаму Вейде принадлежит сочиненный в 1698 году Воинский устав, по которому и была сформирована двумя годами позже российская армия. Кстати, автор посвятил свое сочинение царю, чем доставил последнему огромное, как говорят, удовольствие.

Мне привели в качестве примера отношений Виниуса-младшего с царем Петром обычное для дьяка обращение: «Приятнейший мой господине», тогда как Вейде обращается к своему монарху со словами: «Господин бомбардир Петр Алексеевич».

Не называя источника информации, скажу еще, что по случаю прибытия царя в Азов в июне 1699 года Адам Вейде считал для себя возможным подробно описать устроенную попойку, участники которой, вконец перепивши и захмелев, уже к полуночи вынуждены были кто на четве-

реньках, а кто и ползком добираться до мест своего ночлега. Меня уверяют, что подобные реприманды доставляют царю Петру особенное удовольствие.

В следующем письме, для которого также буду дожидаться верной оказии, не доверяясь прыти и любопытству местной почты, постараюсь, всемилостивейший государь, привести дальнейшие подробности о царской «компании».

Зимы в Ярославле трудные. Безветренных дней наперечет. Все откуда-ниоткуда метет да задувает: от Волги сильный, ледяной, с Которосли — подмухами зябкими. Кругом изморозь как туман стоит. Сединой на стенах храмов оседает. На вид волглая. Без блеска. Руку из рукавицы без крайней нужды вынимать не станешь.

Ярославцы что, они привычные. Разве что подпояшутся покрепче да половчее. А после Москвы все дух захватывает. Глаза слезятся.

Говорил государю Петру Алексеевичу: к чему в декабрьскую-то стужу в Ярославль тащиться? Отпели Федора Ивановича Троекурова в Москве — сам кир Адриан, как ему ни недужилось, потщился большое отпевание отслужить в троекуровском родовом Георгиевском монастыре, что у Охотного Ряда. А тут еще и на Волгу за гробом ехать.

И слушать не стал: до последней черты с князем Федором буду. Коли от самого Азова его вез, о Волге и толковать нечего.

Близко к сердцу государь кончину князя Федора Ивановича принял. Так близко, что все диву давались. Дружил с ним, с детства дружил, но не один у него товарищ по играм был.

Может, прости Господи, за домысел греховный, потому что первый раз увидел, каково оно детские-то игры потешные в дела подлинные, неотвратимые переходят?

К Троекуровым особого расположения никогда не имел. Да ничем особенным при дворе они и не выделялися.

Другое дело — их род. Рюриковичи. Князья Ярославские. Служить служили — а как бы иначе? Выслуживались редко. Власти при царском дворе и денег не искали.

Иван Борисович Троекуров, сам того не ведая, важной персоной при дворе оказался: женился на единственной дочери боярина Богдана Матвеевича Хитрово, который Оружейной палатой ведал, а вместе с ней и всеми лучшими художниками и мастерами государства Московского. Пока тесть в 1680 году не преставился, мог себя князь Иван Борисович всяческими затеями строительными баловать. Не преминул так родовой дом в Георгиевском переулке, близ Охотного Ряда, изукрасить — иноземцы дивились.

Только померла Василиса Богдановна рано, а тут и оба ее сына прибрались, что с государем Петром Алексеевичем вместе росли. Против них ни покойный государь Федор Алексеевич, ни правительница государыня царевна Софья Алексеевна ничего не имели: не тщеславные, да и безответные — куда им до дворцовых козней.

Трудной была дорога нашего войска до Азова, долгой для князя Федора Ивановича Троекурова обратно. Летом погиб, только 16 декабря первое отпевание его состоялося — в церкви Николы у Боровицких ворот Кремля. Сам кир Адриан в последний путь молодого воина проводил.

Хоронили Федора Троекурова в ярославском Спасо-Преображенском монастыре, в Чудотворской церкви, где и доска с жизнеописанием поставлена была:

«Мироздания 7203 (1695) лета по указу царского пресветлого величества благочестивейших царей бысть на службе под градом Азовом Турским, иже на реке Дону, ближних великих государей стольник князь Федор Иванович Троекуров и тамо от неприятелей ранен в 5 день августа месяца и, болезнуя, в полках от раны тоя... 7204 (1695) лета сентября

месяца в 6 день сконча жизнь свою и отыде ко Господу. Тело его привезено во град Москву декембрия в 16 день, и надгробныя пения над ним сотвори святейший патриарх соборне. Погребено же оно во граде Ярославле... на сем месте месяца декембрия в 20 день, иде же лежат усопшие сродники его же. Во град Ярославль благотворительно ради милости своеа к нему особно присутствовал благочестивейший великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич... От рождения ему, князю Федору Ивановичу, 28 лет и 3 месяца».

Забыли только на плите высечь, что был князь поначалу стольником, потом спальником, а с 1693 года бомбардиром.

Из донесения тайного саксонского агента

Всемилостивый граф!

Неудача первого Азовского похода государя Петра была предрешена. Царь не собрал необходимых разведывательных сведений и решил, что опыта игрушечного штурма игрушечной крепостцы, пусть и с реальными человеческими потерями, достаточно для того, чтобы переходить к реальным сражениям. Сегодня многие в Москве толкуют, что Азовский поход молодого царя стал прямым повторением Крымских походов князя Василия Голицына. Его армия подошла к турецкой крепости в устье Дона, осадила ее, но, не имея собственного хорошо оснащенного флота, захватить не смогла.

Надо отдать должное царю Петру. Неудачи не лишают его сил и охоты продолжать задуманное и стремиться к поставленной цели. Он отдал приказ заложить русский флот в городе Воронеже, достаточно далеко от Азова, главным образом в расчете на недоступность тех мест для турецких отрядов, которые действительно не беспокоили строителей-корабелов. Зато настоящим препятствием стали страшные, необычные для тех мест морозы. Если бы не постоянное личное присутствие царя, работы или бы замедлились, или и вовсе прервались. Но царь ни на один день не оставлял корабелов, и в результате к весне 1696 года были построены два прама, два галеаса, двадцать три галеры и четыре брандера, как сообщил мне один из доверенных людей.

Начальство над этим флотом получил генерал Франц Лефорт, а после него генуэзец де Лима и француз де Лозьер. Собственно, их обязанностью было наблюдение за строительством, которое они и осуществляли с не слишком большой тщательностью. Галеры строились по чертежам, полученным из Голландии. Прамы представляли из себя большие плоскодонные ящики с двумя мачтами каждый, вооруженные сорока четырьмя орудиями. Прамы совершенно бесполезны для плавания в открытом море, и их единственная цель — подходить вплотную к береговым укреплениям. Провести их по реке Дон оказалось практически невозможным, поэтому после окончания сооружения все прамы были разобраны, доставлены по суше до города Черкасска, а там заново собраны и спущены на воду. Этот сизифов труд, как вы понимаете, сиятельнейший граф, возможен только в Московии и при тех правах, которыми обладает московский царь, для кого каждый подданный остается безгласным и безответным рабом.

Второй Азовский поход оказался немногим удачнее первого. Фактически вся флотилия, созданная в Воронеже, оказывается непригодной для военных действий. Инженеры, которые могли бы помочь делу и с этой целью были наняты царем из числа иностранцев, опаздывают — то ли случайно, то ли намеренно. И если крепость Азов в конце концов и сдастся русским, то только на договор, а не военным промыслом.

Победа, о которой так мечтал царь Петр, не состоялась, незначительность военных успехов он поспешил скрыть, как это делала в свое время его сестра правительница Софья, исключительно пышными торжества-

ми в Москве. В конце концов, от стен Кремля никому бы не удалось разглядеть берега Азовского моря, чем и воспользовался царь Петр.

Дорога к селу Красному

Вспоминалось князь-кесарю: к Красному селу сразу сердцем прикипел, как ко вдовой царице в Преображенский дворец ездить стал. Зимним временем покойница кремлевских хором держалася. Оно понятно: и за сына боялась, и чего недоглядеть в судьбе своей опасалася. Государь покойный Федор Алексеевич вроде зла на государыню не держал, да за ним-то сколько сестер-наушниц стояло. И сам Федор Алексеевич, если рассудить, подросток еще: ни в силу, ни в разум войти не успел.

А уж летом государыня Наталья Кирилловна волю себе давала. Сказывали, при супруге веселей да смешливей ее найти нельзя было. Такой не видал. Где там! Лишнего слова не вымолвит. Все в одежды свои вдовьи кутается. Взгляд тяжелый. Недоверчивый. Темный. Как у государя Петра Алексеевича, когда, не приведи, не дай Господи, гневаться начнет.

Дорога в Преображенское не ближний край. Да и государыне-вдове нелегко там было. На что ни глянет, вся слезами затуманится. Недолго Господь дал с супругом пожить, зато, сама признавалася, как в раю побывала. Что ни пожелает, все наперед угадывал. Отказу ни в чем не знала. Уж куда, кажется, — в колымаге со стеклами открытыми ездить стала. Вся Москва диву давалася: царица в окошке как есть видна. А государь слова не сказал, нарадоваться на супругу не мог. Государыни царевны так меж собой и толковали: уж на что матушка их тихая да покорливая была, никогда супругу угодить не умела. Что ни сделает, все боится, как бы государь Алексей Михайлович брови не нахмурил. Браниться не бранился, а как облако грозовое сколько дней ходить мог. Государыня Марья Ильична, все боярыни верховые толковали, по скольку раз на дню чувств лишалась. Обомрет походя, еле-еле откачают. А государь Алексей Михайлович то ли не замечает, то ли замечать не хочет.

Государь наш Петр Алексеевич — дитя ведь еще был — сам признавался: из возка, из колымаги ли по сторонам не глядел. По Москве еще куда ни шло — народу видимо-невидимо, торг по всем улицам идет, конных да упряжных навстречу не счесть. А за Земляной город выехали, в угол забивался, минуты считал, как до Преображенского доедут. Надоело все, говорил.

Тут уж князь-кесарю посуетиться пришлось. Уговорил с дороги свернуть, к пруду подъехать. Как со стороны церкви Воздвиженья остановилися, из возка вышли, пруд Красный государь перед собой увидел, так и ахнул. Час битый стоял — от воды оторваться не мог. Тут же положил дворец строить. Место и то с ходу указал — чтоб напротив Стромынской дороги.

А как ему рассказал, что пруда такого более нигде ни в Москве, ни в окрестностях нет, да чтоб обойти его кругом, времени столько, сколько Кремль весь обойти, надобно, зашелся весь: вот тут и будем флот закладывать, под парусом ходить. Рядом Иван Автономович Головин стоял — ему распорядился. Никаких иных резонов и слышать не захотел.

В Преображенское тем разом помчались что есть духу. Хотелось больно государю о своей находке всем рассказать да сестрицу порадовать.

Государыня царевна всегда умницей была. Не то что перечить, тут же ехать в Красное собралась: для своего двора место выбирать, пока придворные не набежали. Как в воду глядела. Всем до Красного дело стало.

И меня, грешного, не забыла:

— А ты, Федор Юрьевич, где строиться станешь? Вот бы ко мне поближе.

Государь услышал, подхватил:

— Вот и ладно, чтобы рядом. Мне же удобней: к тебе заеду, к князю нашему загляну. А может, и наоборот. Оба вы мне куда как нужны.

— Времени только, братец, откуда возьмешь? Как тебя на все хватит? — смеется.

Никак, ветерок в березах зашелестел. Высокие. Плакучие. К берегу пруда придвинулись. Ровно перешептываются.

— Федор Юрьевич! А Федор Юрьевич! Князь!

Кому бы еще на заре быть? Птицы и те только-только перекликаться начинают. Одна пискнет — ответа долго ждет. Потом другая. По пруду предрассветная рябь пошла, будто ряска. Сам государю, мальчонке еще, показал:

— Любуйся, Петр Алексеевич. Какая тебе там Серебрянка измайловская. Вот простор, вот ширь, хоть под парусом ходи.

Встрепенулся весь. Ручонками в рукав кафтана вцепился:

— А разрешат, как думаешь? Из Преображенского выйти разрешат?

— Федор Юрьевич! Князь!..

Чисто наваждение какое. Лебеди поплыли. Первая пара. Им и плетень такой поставили, чтоб гнездо устраивали, птенцов высиживали. Вон сколько гнезд. Все государыня царевна: какое, мол, царское жилье без лебедей? Такого и в сказках-то не бывает. Настояла — с птичьего двора привезли.

Царская птица, ничего не скажешь. Нравная. Чуть что, обратно в Измайлово уплывают. Тут из пруда одна речка единственная начало берет — Чечера. Тихая, а полноводная. Кто на Стромынь едет, тут на постоялом дворе и задерживаются, коней поят.

Оттого и село богатое. Без малого полтораста дворов. Все один к одному: обихоженные. Теперь и вовсе. Церковь, хоть и деревянная, красавица. Рубленая. Всемирного Здвиженья. Патриарх сказывал, другого такого посвящения во всем государстве Московском нету. Кто бы такое придумал — Всемирное Здвиженье...

— Никак, вздремнул ты, Федор Юрьевич. На зорьке, как девка на выданье, недоспал...

— Государыня царевна! Никак, ты?

Кусты раздвинулись — когда еще привыкнешь, на новый манер, боскетами их называть. Одно слово: дерево корежить незнамо зачем.

— Ты, государыня? В такую-то рань?

— Что за диво? Нешто забыл, матушка-покойница николи заспать по утрам не давала.

— Так то государыня, в Бозе почившая Наталья Кирилловна. А тебе-то после вечерашней ассамблеи и передохнуть не грех. Вона как пошумели.

— Сам знаешь, не пью я, разве что пригублю.

— Так по вечорашним поздравлениям, коли и пригубливать только, все едино набраться можно. Уж больно круто государь наш за дело взялся. Почитай, каждого второго выносить пришлось. Вот такое у нас прощание, да и не последнее, полагать надо.

— Вот о том и потолковать пришла, Федор Юрьевич.

— О вине, государыня?

— Бог с ним, с винищем-то. Тут уж я братцу не советчик и не указчица. Матушку нашу и ту слушать не хотел, а ведь любил как, почитал.

— Мужеское оно дело, царевна.

— Знаю, князь. Сама убедилася. Да братец и обетов никаких никому не давал. Кира Адриана от разу на место поставил: мол, не твой огород, не твоя, владыка, епархия. Тот и притих.

— Хворый он, Наталья Алексеевна. Совсем хворый.

— Хворый, говоришь. Так зачем было хворого на патриарший престол возводить? Обуза одна, и дела никакого.

— А оно — сама, царевна, рассуди — и к лучшему. У братца твоего, великого нашего государя, руки развязаны, никто в ногах не путается. Да и характер у Адриана, слава Тебе Господи, иной, чем у покойника кира

Иоакима. Вот уж неуемный был, вот уж во все дела государские соваться любитель.

— Ой, не то у меня на уме, Федор Юрьевич. Господь с ним, с владыкой. Вот сейчас в твой сад пробиралася, вспомнила, как братец велел калитку между моим двором да твоим потаенную прорубить, чтобы в случае надобности без лишнего догляду пройти. Ключ вложила, а он уж и не поворачивается: заржавел весь. Сколько калитку-то не открывали. Еле справилася.

— Неужто одна шла, государыня? Ни служащего, ни девки?

— Шутить изволишь, Федор Юрьевич. Кому бы это я доверяться стала. Сам сказал: служащие. А ведь служить кому хошь можно — лишь бы денежки платили. Сам знаешь, двор у нас каков: рта раскрыть не успел, ан уж эхо с другой стороны летит, отзывается.

— Твоя правда, государыня, хотя время теперь...

— Какое такое время, Федор Юрьевич? Какое время? Скажешь, братец один теперь властвует?

— Кто ж еще, государыня.

— Не крути, Федор Юрьевич, ой не крути. Ты что, и впрямь Милославских всех со счетов сбросил? Софья Алексеевна в монастыре, так и сказке конец? Да и монастырь-то от теремов царских кремлевских рукой подать. Лошадей менять не нужно, чтоб на Соборной площади из возка сойти. Разве не так? С сестрами-царевнами видится, посетителей принимает. В соборе Смоленском монастырском после каждой службы народ к ней валом валит. Про это не слыхал? И не милостыню раздает во спасение души — народ около нее богатый, знатный толпится. Это, как думаешь, к чему?

— Неужто была ты там, царевна?

— Я? Была? Да ты что, князь? У меня соглядатаев меньше, чем у тебя с братцем, а все равно хватает.

— Вот и слава Богу, кому ж как не сестрице родной государя нашего стеречь.

— Сам сказал, князь, «стеречь». Вот и хочу тебя спросить, какая такая нужда братцу за рубеж ехать? Государство оставлять? Про опасения недавние забывать? Есть ли нужда, князь?

— А у братца, государыня, ты не хотела сама спросить?

— Хотела. Еще как хотела. Отмахнулся: не моего ума дело. Чисто младенец отъезду радуется. Только о нем и толковать может. А ты что думаешь, Федор Юрьевич?

— Неловко мне, царевна, про дела такие толковать.

— Неловко... Выходит, ошибалась государыня-матушка, когда с пеленок мне толковала: только на Ромодановского и можно положиться, только он один нашу руку держит. Перед кончиной наказывала: в случае чего, с князем говори, с князем. Знаешь об этом?

— Знаю, царевна.

— И молчишь.

— Сама посуди, Наталья Алексеевна, в случае чего, сошлешься ты на меня, а Петр Алексеевич наш как есть в кипятке купанный: доверия своего меня лишит. Скажет, за его спиной его дела обсуждаю. Что с тобой, царевна, того и в расчет не возьмет, поверь мне.

— И молчишь... А если скажу, что знаю, как с государем о поездке этой спорил, как уходил, дверьми хлопал, как ото всех дел отказаться решил? Теперь как?

— Ну, раз знаешь, государыня, что же мне прибавлять.

— Есть, есть что прибавлять! Еще раз тебя спрашиваю: какая нужда Петрушу за рубеж гонит?

— Мечтал государь об этом, царевна.

— Мечтал, говоришь? И давно у него мечта такая появилась, почему родная сестра о ней не слыхала?

— Как давно, не скажу, а вот после кончины блаженной памяти государя Иоанна Алексеевича в первый раз вслух сказал.

— Ну это что до, что после.

— Не скажи, Наталья Алексеевна, не скажи.

— Будто был братцу Иоанн Алексеевич в делах государственных помехой. Да и не знал он дел никаких. Во всем на братца полагался. Ему бы на богослужение не опоздать, все свечи ко времени зажечь, сто поклонов земных положить — как только здоровье позволяло! Иным разом уж и подняться с полу не мог — бояре подымали, водой отливали. Правитель!

— А разве в нем дело было, государыня? Сестриц твоих сводных Господь разумом не обидел, волей не обделил. Они за Иоанном Алексеевичем как стая коршунов вились. Поди тут заглядись — мигом какой хошь царский указ именем его подмахнут.

— Вот и толковала я братцу, всех их в дальние монастыри разослать, всех по отдельности.

— Пока жив был Иоанн Алексеевич, могло и не помочь. За Милославскими ой как много народу набралось. После кончины — другое дело.

— И ведь надо же и тут в народе толковать принялись, что больно ко времени кончина-то пришлась.

— Царская кончина незамеченной не пройдет.

— Я тогда еще царицу Прасковью Федоровну на спытки брала, как оно было.

— Вот это зря, Наталья Алексеевна.

— Зря? Дело-то семейное. Все лучше правду знать, чем в догадках бродить.

— О чем и речь, царское дело семейным быть не может. А правда — она и простому человеку редко на пользу выходит, что ж о царских-то домах говорить. Бог с ней, с правдой-то.

— А разве правда государю не нужна? Государю не нужна? Кому же тогда?

— Правда по государевой смерке прийтись должна, тогда и толк от нее в делах будет.

— Значит, и мне теперь о поездке ничего не скажешь? Приказать тебе, князь, не могу, а вот просить, Христом Богом просить... Ведь одна же я здесь без Петруши останусь. Как кутенок слепой одна — ни ему, ни себе самой не поможешь... А то и беды какой нехотя наделаешь.

— Что ж, государыня, коли стоишь на своем, что тебе сказать? Не хотел и не хочу я, чтобы государь за рубеж отправлялся.

— Видишь, видишь!

— Так то я вижу, а у государя расчет иной. Торопыга он, братец-то твой, государыня, ой торопыга. Ему бы все разом, все в одночасье. По жизни как под парусом ходить хочет. Захотел — сюда повернул, захотел — туда.

— Была бы матушка-покойница жива, удержала бы.

— Не обманывайся, Наталья Алексеевна, царице Наталье Кирилловне только слез бы прибавилось, обиды материнской. Любил государь свою матушку, крепко любил, но с делами государскими советов ее и желаний не мешал, сама знаешь.

— Не говори так, Федор Юрьевич, не всегда так было.

— Сама же, царевна, ко мне за правдой пришла.

— А знаешь, какие письма братец матушке писывал?

— Написать все можно, государыня. Бумага, она, известно, все стерпит. А государя и винить не следует: не о себе думал. Ну разве что когда возвращался...

— К матушке не спешил. Как с Монсихой свидеться летел. Ни слова матушка не говорила. Ручки белые, бывало, сожмет крепко-крепко, слова не вымолвит.

— Полно тебе об этом, государыня царевна.

— Верно, ни к чему. И матушки давно не стало, а Монсиха все у него на уме неизбывно.

— Ты о поездке, Наталья Алексеевна, дознаться хотела.

— Ты уж прости меня, Федор Юрьевич, много всякого накопилося. Поделиться не с кем. И тебя остатним временем хоть и вижу, да все в делах.

Невдалеке ударили в колокол. Раз. Другой... К ранней обедне... Птицы все взгомонились. Ворота со всех сторон заскрипели. Голоса раздаваться стали. Кто-то на лодке выплыл. Веслами четверо гребцов машут. Значит, апраксинские. Матросы с его двора. Алексашка Меншиков своих в немецкое платье рядит. Вельможей себя выставляет. По дороге Стромынской, никак, обоз двинулся. Возы скрипят. Лошадь заржала...

— Сказал я тебе, царевна, все торопится наш государь.

— Сама вижу, будто времени ему не хватит.

— Али больно много работы себе наметил. Вот и тут не показался ему Азов.

— Как это не показался, Федор Юрьевич? Взяли же крепость. Викторию отпраздновали.

— Взять-то взяли, а до полной победы над турками куда как далеко. С морями южными много еще заботы будет. Вот и решил государь одним махом сам все решить. Союзников набрать — будто послы наши нерасторопны больно, дела своего не знают, на одном месте топчутся.

— А что, так и есть?

— Рассудить трудно, царевна.

— А почему братец решил, что у него все как по маслу пойдет? А коли и ему не удастся? Сраму не оберешься.

— Мужиком бы тебе родиться, государыня. И я государю про то толковал. Посол — он что? На него все огрехи всегда списать можно. А самому государю куда деваться, коли от ворот поворот получит?

— Слушать не стал?

— Не стал. Победитель ведь он у нас. Уродился таким.

— Понятное дело, государя всенепременно государи же принимать будут. Верно, князь?

— Верно. Только на то и расчет. Да тут загвоздка одна есть, и немалая.

— Как промеж себя говорить будут? Без толмача не получится, а толмач...

— Верным человеком должен быть. Надежным. Да еще уметь все в пользу государя повернуть да вывернуть. Нет у нас еще таких, надежных-то.

— И о том хотела братцу сказать. Снова отмахнулся. Мол, и без толмача суть дела уразумеет и сам быстро чужому диалекту научится.

— Не так-то оно просто.

— Вот уж тут на сторону братца встать могу. Выучился же он в нашей Немецкой слободе голландскому. Я сама, худо ли бедно, и по-фряжски с итальянцами изъясниться могу. Немцев тоже пойму, коли крайняя нужда.

— Сподобил вас обоих Господь Бог. Жаль, учителей-то на вашу с братцем долю не досталося.

— Учителей, говоришь. А на мой разум — Господа благодарить, что оба живы остались, в каких там темницах не сгнили.

— На все воля Божья.

— А какая же это воля, Федор Юрьевич, чтобы ты за отъездом братца царем остался? Братец уже тебя заранее царем величать принялся. И что ж теперь у нас будет? Верит тебе Петр Алексеевич, как самому себе верит. Надолго ли поездка его затянется?

— Не дослушала ты меня, государыня царевна. Союзники — это одно дело. Другое — чтоб чужие государи нашего царя разглядели, разобрались, с кем дело имеют, чтобы дружбу начать водить. Непросто? Куда как непросто, но Петра Алексеевича с пути его не собьешь.

— А из других стран когда весь двор с государем в другие страны выезжал? Бывало такое? У нас-то нет, знаю. Наши государи на Москве сидели.

— Вот и нет, царевна. Чужие страны навещать не ездили, это так. А в Москве подолгу не засиживались: все вместе с войском воевали.

— Как дедушка.

— Нет, царевна, покойный приснопамятный государь Михаил Федорович тут не пример. А вот батюшка твой родной, царь Алексей Михайлович, было время, годами Москвы не видел. Царица Марья Ильична повсюду за ним поспевала. Иной раз в Москву только рожать приезжала.

— А матушка ни о чем таком не рассказывала.

— Можно сказать, посчастливилось Наталье Кирилловне — на ее годы важных войн не пришлось, вот государь ее одну и не оставлял.

— Так и ты, Федор Юрьевич, в походах побывал?

— Как иначе, государыня царевна. Каждый дворянин — человек служивый: что по царской службе надобно, то и делает. Где на воеводстве сидит, где полками командует, где засеки да крепости новые строит. Как баба на хозяйстве, еле успевает поворачиваться.

— А теперь, значит, царем станешь, по службе?

— Вот это ты государыня царевна, в самую точку попала: по службе, а уж сколько такой службе длиться, одному государю по делам его известно...

— И я тебя должна буду царским величеством величать?

— Это как государь прикажет.

— Ты сам не знаешь?

— Для меня ты, Наталья Алексеевна, завсегда государыней царевной останешься. Только ты прости меня, государыня, заговорил я тебя. Гляди, сколько кругом народу суетится. Негоже, коли тебя в саду Ромодановского увидят. Дай, до калитки-то тебя провожу.

— Да, идти пора. Значит, мог бы Петр Алексеевич за рубеж не ездить. Все ему своими глазами поглядеть хочется.

— Всему самому научиться: сказал, хочет плотником на корабельных верфях поработать, наших людей на обучение повсюду пристроить.

— Коли согласятся.

— А не согласятся, дорогу себе ко двору царскому закроют. Кто ж на такое согласится. Все останутся, все учиться станут. Много ли от таких ученых проку будет, время покажет. Но отказников не найдешь, сама увидишь.

— И все на свои кровные.

— В том-то и хитрость, что на государевы.

— Господи! Чего же ему такая орава стоить будет, посчитали, нет ли?

— Как же без счету, да мне о том неизвестно. У меня расчеты здешние — здесь ведь остаюсь. Ну вот и добрались до калитки-то. Не застудилась бы ты, государыня. Гляди, весь подол от росы сырой, поди, ботики тоже.

— Было о чем толковать. Спасибо тебе, Федор Юрьевич. Одно поняла: пустое дело — к государю с уговорами подступаться. Поездка — дело решенное.

— Государева воля.

— А жить-то ты, князь, где теперь станешь? С титулом-то царским? Во дворце, поди?

— Где там! А впрочем, на все воля государя.

— Что ж, прощай пока, князь. Да еще давно спросить тебя хотела: род-то твой из Рюриковичей? Не то что у нас Романовых? Князь Ромодановский...

Войско российское

Душно в покое. Куда как душно. Пожалел государь Петр Алексеевич в своем Преображенском жилище разворота. Комнатенки маленькие. Потолки низкие. Зато пороги, на старый манер, высокие: недоглядишь при

входе — во весь рост растянешься. Государю что: носи немецкое платье, беды знать не будешь. С ним не сговоришь. А как дух и вовсе спертым станет — хоть топор вешай, — настежь двери распахнет: хоть зима, хоть осень стылая да мозглая. Ни до чего ему дела нет — только бы за мыслями своими поспеть.

— Что, Федор Юрьевич, готов ли о казаках толковать?

— Готов, Петр Алексеевич.

— Один управился?

— Где там! Без Ивана Григорьевича никуда.

— Опять Суворов запонадобился. Здесь он, что ли?

— Здесь, государь, а как бы иначе. Ему и книг никаких не надобно — все в голове держит.

— Ладно, ладно, сам цену своему главному писарю знаю. Входи, Иван Григорьевич, время дорого. С прямого вопроса начну: надо ли и в самом деле порядок с ними наводить аль опять отсрочку просить станете? Что, князь-кесарь?

— Надо, государь. Иначе, того гляди, и всю Москву перебаламутят.

— А вояки преотличные, батюшка государь. Не зря о них говорят: стрельца обихаживать надо, а казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает.

— Говорят, говорят, Иван Григорьевич. Только ведь и другое толкуют: что казаки все наголо атаманы. Им командиров не нужно. Разве не так, Иван Григорьевич?

— Так ведь, Федор Юрьевич, у каждой медали две стороны есть. С чем мириться надо — из расчету, с чем и к силушке прибегнуть — государю-то ее не стать занимать.

— Думаешь, у государя только и дела розги для неслухов в кадушке мочить? При такой-то армии?

— Погоди, погоди, князь-кесарь. Пусть наш Суворов мысли свои изложит. Он все время среди солдат — ему виднее. Говори, Иван Григорьевич.

— Благодарствуй, государь. На мой разум, один хороший солдат десяти плохих стоит.

— Так что ты насчет казаков?

— Расчет простой, государь. Кто он есть казак-то? Поселенный воин легкого конного войска. На каждый день о нем заботы никакой, а по вызову обязан он сей же час являться на своих конях, в своей одежке, со своим оружием. Об оружии сам заботится, да еще как, коли с животом расстаться не хочет. И коней от души холит.

— Ну и в чем тут перед стрельцами выгода?

— А в том, государь, что стрелец — домашний человек и прежде всего к торговле прилежащий. Купец не купец, а торгаш, который выгоду свою допрежь всего рассчитает. Ему и с места-то подняться лень, да и не расчет. Война — одни убытки. С казаками же расчет иной. Они, государь, всех мужиков своих на какие разряды делят? С семнадцати до двадцати годков малолетками почитают, известно, в дело не берут. Зато служилые они с двадцати одного годка до пятидесяти. Ровно тридцать лет получается. Еще пять лет у них возраст домоседный, но в случае нужды и они стариной тряхнуть должны. А уж дальше отставными считаются.

— А что ж ты, Иван Григорьевич, позабыл, на чем их вольница без малого сто лет держалась? Что царским указом разрешено было им беглых не выдавать?

— Не забыл, Федор Юрьевич. Как тут забыть! Когда государь у них в 1695 году право это отнял.

— А они взбунтовались, Иван Григорьевич?

— Погоди, государь. Отказом-то они ответить осмелились, да не время, по моему разумению, с ними нынче счеты сводить. Спускать такого нельзя, так ведь с наказанием обождать можно. Другие дела нынче важнее.

— Известно, какой ты у нас расчетливый, Суворов. Только вы мне с князь-кесарем ответьте, как оно раньше с неслухами было. Ты мне, Федор Юрьевич, про Казачий приказ докладывай.

— Был такой, государь, до правления твоего батюшки — с 1618-го по 1646-й, заведовал всеми атаманами и всем казачьим войском, служившим в Москве и в других городах.

— А до приказа? Были ли, нет ли здесь казаки? На каких правах? Откуда взялись?

— Почитай, всегда были, государь.

— Как «всегда»?

— А дело тут такое. После Куликова поля в Москве Занеглименье заселяться стало. Позже, под конец правления государя Ивана III Васильевича, — Заречье. Отсюда дороги пошли: на юг — Ордынская, на Серпухов — по нынешней Полянке, на Коломну и Калугу — по Якиманке. И у вылета дорог стали для береженья стрельцов селить, а со времен Бориса Годунова — казаков. Они хоть и баламуты великие, зато ничьих набегов не боялись, спину никакому врагу не показывали.

— Федор Юрьевич велел мне переписи давние полистать, оно и вышло — повсюду у начала дорог московских их хозяйства да земли. Да вот тебе пример, государь. Храм Живоначальной Троицы, что в Больших Лужниках, или в Вешняках. Тебе пяти годков не было, построили его головы московских стрельцов Матвеева приказа Вешнякова, пятидесятники и десятники вместе с рядовыми, что были в осаде на службе в Чигирине. Убранство все богатейшее на свой кошт вложили. Денег как есть не жалели.

— Ладно, дела давние. Можно и не поминать. Главное — нынче что? Были их полки, помню. И немало.

— Что ж, были. И сейчас есть.

— Вот и решим их дела нынче же.

— Расформировать думаешь, Петр Алексеевич?

— Давай называй один за другим, по ходу и разберемся.

— Начать можно с рейтарского полка полковника Самуила Станкевича. Составился он из смоленских рейтар и смоленских же грунтовых казаков. Воевал в Ингерманландии.

— Хорошо воевал?

— Не хуже других, государь. Он с 1700-го в деле, а и того раньше.

— Станкевичи-то откуда взялись, Иван Григорьевич?

— Дворяне они, государь Петр Алексеевич, литовские дворяне герба Могила. В ранние годы правления твоего батюшки государя Алексея Михайловича один из них — помнится, Иван Николай — был великим писарем великого княжества Литовского. Помер он в год присоединения к державе нашей Смоленска. Тогда же Ян Станкевич подданство российское принял, а с ним и в русскую службу вступил. Земли за ним на Смоленщине оставлены были. Родовые. Никаких иных наград не получал.

— Из смоленских кто там еще, Федор Юрьевич?

— Еще один рейтарский полк — полковника Александра Азначеева. Его год назад, в 1701-м, из грунтовых казаков организовали.

— Какую службу нес?

— Гарнизонную во Пскове, государь.

— Только и всего? Расформировать, как думаешь, Федор Юрьевич? От полковника немного прока?

— Твоя правда, государь. А вот за рейтарский полк воеводы и стольника Федора Протасьева не заступиться не могу. Его, как ты из Великого посольства вернулся, в 1699-м, из смоленских грунтовых казаков, рейтар и копейщиков составили. Два года они смоленские рубежи охраняли. Отлично охраняли. Смоленский рубеж, сам знаешь...

— Еще бы не знать. Потом что? Под Нарвой были.

— У мызы Репнина сражались в 1701-м, нынче на мысе Эверт.

— Пусть остаются.

— Еще, государь, из смоленских грунтовых казаков есть полк конной службы полковника Степана Васильевича Аршиневского. Он больше двух лет насчитывает. Может, объединить его с полком Станкевича?

— Разберись с Иваном Григорьевичем. Потом мне доложишь... Есть там еще смоленские?

— Больше нет, государь. Тут всего два. Один полковника Михайлы Хилинского. Их прошлым годом из луцких казаков составили и сразу на гарнизонную службу на Ладоге отправили. В Ямбурге они сейчас.

— Не нужны.

— И полк конной службы полковника стольника Степана Петровича Бахметева. Его год назад из казаков низовых городов рассчитали и стрельцов, что в Уфе стояли. Тут уж как прикажешь. Люди лихие, а службы до сего дня никакой.

— Вот и разберись, да поскорее. Постой, Федор Юрьевич. Ты насчет луцких казаков сказал. А как там у нас с украинскими казаками? Кто ими командует?

— С ними, государь, не просто. Не входят они в состав нашей армии. Вроде по большей части нашу руку держат, а там, сам понимаешь, никогда не узнаешь, откуда новый ветер-то подует, с какой стороны солнышко их теплее обогреет. За ними глаз да глаз нужен.

— И деньги, так понимаю.

— Да и немалые, государь. Завтраками их не удержишь, а то и вовсе на вражескую сторону переметнутся. С турками-то у них все налажено, о поляках и толковать нечего. А прикидываться ох как умеют. Хоть на переговоры к самому турецкому султану посылай, в накладе не останешься.

Отшумели наши московские виктории, отшумели. Народу на улицах собрали видимо-невидимо. Стар и млад — все боялись зрелище невиданное пропустить. Их-то, может, и обманешь, а с самим собой что делать? Себе-то как сказать: победитель!

У государя и тени сомнения не было, когда говорили: подготовиться бы получше да так далеко не ходить. Расходы велики, а доход ой как сомнителен, да и будет ли.

С Петром Алексеевичем не поспоришь. Да и в Москве слова про Азов сказать не давал. Прямо боярам предложил хватать фортуну за власы и искать средства, чтобы с неверными теперь уже на море воевать.

С царем не спорят, а только и мошну развязывать не спешат. Бояре не лыком шиты — постройку кораблей на кумпанства возложили. Назвали так тех, кто землей владел больше ста дворов, — что гражданские, что духовные. Остальным велено было деньгами помогать.

Велеть просто. Кумпанства заявить тоже. А как до дела дошло, воров объявилося видимо-невидимо. Все подряды хватать стали. Все умельцами объявилися. Шутка ли, только что не миллион рублей собрали. На такой кус кто не позарится!

С самого первоначалу те, кто в деле кораблестроительном разбирался, сомневаться начали. К деньгам головы нужны, а где их взять? Инженеров да корабелов по приказу не сделаешь. То ли нанимать за границею, то ли самим учить надобно — на учителей тратиться.

Видно, и сам Петр Алексеевич засомневался. А может, ждать не захотел. Ему бы все скорее да все сразу — где оно в жизни так бывает?

Тогда и задумал по странам европейским поехать, союз против турок самому сколачивать.

Оно и сговориться не просто. Каждый, коли ты сам к нему на двор едешь, опаситься начинает: не обманут ли, не проведут ли на мякине-то.

Довелось путевой журнал государев видеть. Что ж, в журнале одно, в жизни — совсем другое. Сам Петр Алексеевич не один раз признавался: не больно-то ему весь прием по сердцу пришелся.

Замахнулся, ой как замахнулся государь. Задумка такая была, чтобы Вену посетить, королей английского и датского, курфюрста Бранденбургского, а там и до Венеции добраться.

Задним числом почему правды не сказать? Может, Митава встречу государю какую пышную устроила, курфюрст как есть по земле стелился, а вот Штаты в союзе противу турок наотрез отказали.

От английского короля тоже прок невелик. Так государь решил времени не терять: сам топориком на верфях голландских и английских махать принялся. Зачем? Своими государскими руками флот для целой державы не построить, разве что душеньку отведешь, побалуешься.

О Вене лучше и не поминать. Ей противу турок объединяться и вовсе не с руки оказалося. Вся Европа искала как Австрию с Турцией примирить: за испанское наследство воевать собирались.

Тут и задерживаться ни к чему было. Государь поспешил вон уехать. Рассчитывал как можно скорее до Венеции добраться. Не вышло: известие о стрелецких беспорядках пришло. Дай бог, до родной державы в срок вернуться.

Поспел, слава Тебе Господи. Поспел. Сам признавался, в такой злости да досаде, что, куда себя девать, не знал. Оттого и на стрельцов разъярился. Досаду свою вымещал.

Вслух не скажешь, а подумать — как не подумать? Время потерял. Толку не добился. Расходы — лучше не поминать. Только что на обратном спешном пути новый союз задумал, когда с польским королем Августом три дни веселился до упаду, — противу шведов. Вместо Черного Балтийское море ему показалося.

А стрельцы... Век такого не забудешь.

В Москву приехал, ни во дворец, ни к сестрице родной не заглянул. С сановниками не повидался. С дороги и сразу к Монсихе. Сказывали, Господи прости, часа три из спальни немкиной не выходил. Водой потом его Аннушку отливали.

Злоба — советчик плохой. На следующее утро принялся сам своими руками сановникам бороды кромсать: чтобы всем с голыми лицами ходить. Одного Федора Ромодановского милостью такой обошел. Перед отъездом как-никак всю державу в смотрение препоручил, велел царским величеством именовать. Сам, как подданный, унижаться стал — не иначе Симеон Бекбулатович на ум ему пришел. Мало я ему о тех временах рассказывал. Как тут с ножницами соваться — вроде неловко.

Дознание по стрельцам вести поручил. Да не как-нибудь: чтоб непременно доказательства сыскать, что царевна-правительница из своего Новодевичьего монастыря их соблазнила, что она ими и верховодила.

Не было такого! Не было. Так и доложил государю. Сам же поручил за былой правительницей доглядывать, да не одному Ромодановскому. Около ее кельи только что не дневал и ночевал поп Никита Никитин из прихода Саввы Освященного. Лютый поп. Государю безотказно преданный.

Слышать ничего не хотел. Софья завинилась! Она одна! Доказать должен, князь. Вот тебе мой царский приказ. Бунтовщица она, возмутительница.

Чуть не за горло держал: должен доказать, князь, должен, Федор Юрьевич.

До того дошло, поехал с киром Адрианом советоваться. Белый как плат. Руки восковые. Сквозь тебя смотрит. Губы сжал, кажись, ножом не разоймешь. Еле из себя выдавил:

— На все царская воля.

— Ты бы потолковал с государем, владыко.

Отшатнулся:

— И не жди!

— Так ведь ездит к тебе государь. Часами беседует. Из-под Азова письма писал, о каждой победе извещал.

— Вот потому и не жди. Не с руки мне государеву милость терять. А царевна... Господь справедливый и многомилостивый правду знает. Ему на последнем суде нас всех и судить. Не виновна, мученицей станет.

Государь и вовсе терпение потерял:

— Скоро ли дознанию твоему, князь, конец? Терпения моего не испытывай, Богом прошу! Что на это скажешь?

Может, совестью не поступился, а все едино оставил царевну в сумнительстве. А государю одного того хватило. Государыню царевну Софью Алексеевну и государыню царевну Марфу Алексеевну, что письма сестре писала, под черный клобук. Да уж кстати и царицу Евдокию под клобук да в дальний монастырь. Вот и вся недолга!

Кир Адриан и так недомогал. Давно прихварывал. Потому и церковь обетную Девяти мучеников Кизических на своем загородном дворе, в Новинском монастыре, поставил. Подгадал, чтобы к возвращению государя освящение нового храма пришло.

Государь не отказал. Не один приехал, с другом своим, царевичем Имеретинским Александром, сыном царя Арчила, и сестрой его Дарьей.

Только приехал с Красной площади, где в те поры казни вовсю шли. Не то что смотрел на мучеников, сам... сам топором махать принялся. Не одну голову посек. Александр Арчилович наотрез отказался: не царское это дело. Дарья, царевна Милетинская, как ее в народе зовут, без чувств упала. А государь не побрезговал.

Таким и приехал во храм Девяти мучеников. На освящение. И тут кир Адриан смолчал. А сразу после освящения слег. Сказывали, с одра болезни сползал к образам: прощения молил, в слабости своей человеческой каялся — что не заступился, что слова поперек царской воли не сказал.

Сам сказал: «Не оправиться мне. Не жить... не жить...»

Позже понял: хотел государь всему старому предел положить. Одним махом. Иначе к чему бы в феврале 1699 года опять начинать стрельцов казнить? Ровно под корень их всех вывести. Народ ведь крепкий. Недюжинный. С новобранцами нашими не всякого сравнишь. Порох нюхать надо — оно верно, только к быту военному привычному быть. Война — она не на один день. В нее не как в речку — как в море входишь, а когда как выйдешь, одному Богу Всевышнему известно.

11 ноября наконец-то удалось государю с Августом Польским и Саксонским тайный договор заключить. Король обязательство на себя взял сразу по заключении мира с Турцией своими войсками в Ингрию и Карелию вступить, но чтобы никак не позже апреля следующего года. Да ведь не задаром на такое шел. Себе ни много ни мало Эстляндию и Лифляндию забирал.

Спросил у государя вроде бы невзначай:

— Выгодно ли такое державе нашей, не слишком ли велик кусок его величеству безвозмездно отдаем?

Отмахнулся:

— Мое дело. Не твое!

А год-то какой трудный оказался. 17 ноября 1689 года объявили мы набор новых 27 полков. Полки решили на три дивизии разделить и препоручить каждую командирам Преображенского, Лефортовского и Бутырского полков.

Спешили. Из избы генерального писаря ни днем, ни ночью не выходили. К июню 1700 года первые две дивизии сформировали. Вместе с некоторыми другими частями около сорока тысяч солдат вышло. Как в середине июня мир с турками подписали, так их к шведским владениям и двинули. Государь, как дитя, радовался: вон какое дело провернули, Федор Юрьевич, и тут уж, мол, и ты ворчать не станешь, верно, а?

А тут еще болезнь кира Адриана. На глазах угасал. С постели редко-редко вставал. Приподымется, благословит да и снова на подушки завалится.

Государь про болезнь патриаршию и слышать не хотел. Но спешил. Не скрываясь, спешил дела свои с его участием доделать. Тут тебе и Соборное уложение, тут и устройство образования. Ровно на все благословение последнее торопился получить.

Еще 24 июля кир Адриан соборовался. Думали, все. Ан нет, оклемался. Еще три месяца протянул. А как скончался, подступились к государю: кому место высокое занять?

Отмалчивался. Долго отмалчивался. Потом назначил вместо патриарха местоблюстителя. Тут уж прибыльщик наш дьяк Курбатов не промахнулся: своего ставленника подсказал — рязанского митрополита Стефана Яворского.

Яворскому же пришлось службу торжественную по поводу установления нового летосчисления служить. В полночь 1 января, как было повелено, отныне 1700, как и во всей Европе, года.

Яворский в проповеди своей все объяснил. Мол, былой Новый год, что с 1 сентября исчислялся, установлен был Православной Церковью всего лишь в память победы императора византийского Константина Великого над язычником Максентием в 312 году — как бы для утверждения милосердия и правосудия. Не такое уж, выходит, памятное событие. А России, мол, надобно со всеми вместе со стариной разделываться, по-новому жить начинать. Да к тому же исстари на Руси Васильев день праздновали — тут тебе и святочные гадания, и игры, и забавы всяческие.

Знал, знал прибыльщик Курбатов, кем и как государю угодить. Угодил, ничего не скажешь.

А тут еще и вовсе смешная затея случилась. Иван Борисович Троекуров в свои без малого девяносто лет женился на сестре опальной царицы Евдокии Федоровны — Анастасии Федоровне Лопухиной. Словно бы назло государю. Мол, ты, Петр Алексеевич, своевольничать вздумал, а мы, бояре, своей правды держались и держаться будем.

А документы последние, с патриаршим благословением, решил себе сохранить. Может, когда придется государю показать. Коли в беспамятство придет.

Дела военные

Донесение тайного агента

Всемилостивейший господин и покровитель мой!

На этот раз мне предстоит продолжить рассказ о «компании» русского царя за счет еще трех очень значительных по своей роли при дворе имен. Это Федор Апраксин, Федор Головин и Гаврила Головкин. Все трое находятся в самых тесных отношениях с его царским величеством и состоят с ним в постоянной и деятельной переписке, которая, насколько удалось мне узнать, обычно носит фамильярно-дружеский, а то и просто шутливый характер, независимо от серьезности обсуждаемых дел. В окружении этих трех персон царь любит чувствовать себя совершенно раскрепощенным от придворных условностей и особенно угнетающего его величество этикета.

Я не случайно назвал Федора Апраксина первым. Дело в том, что он может быть назван прямым родственником царя и царской семьи: его сестра Марфа стала последней супругой незадачливого и рано скончавшегося предшественника нынешнего государя — его старшего брата Федора Алексеевича.

Супружеский союз оказался очень недолгим — около двух месяцев. Царь Федор был давно и тяжело болен, и его вторичный брак виделся врачам одним из возможных способов если не полного выздоровления, то хотя бы некоторого оживления его величества.

Действительность опровергла все научные выводы. Брак с юной, пышущей здоровьем девушкой, как многие здесь считают, только ускорил неизбежную развязку. Царица Марфа овдовела, но не последовала в монастырь, как часто бывает в России, а осталась во дворце из каких-то, по-видимому политических, расчетов захватившей действительную власть сестры покойного.

Можно ли это приписать ее уму или особым обстоятельствам, но, пользуясь расположением правительницы царевны Софьи, Марфа сохранила свое положение при явно благоволящем ей Петре, что позволило успешно начать государственную службу двум из трех ее братьев.

Впрочем, начало расположения двора братьям Апраксиным было, скорее всего, положено службой их отца, трагически погибшего в степях Приволжья, где-то между городами Саратовом и Пензой, где с ним зверски расправились восставшие калмыки и башкиры.

Старший из братьев Апраксиных, Петр, еще при царе Федоре Алексеевиче был пожалован чином окольничего. На деле это всего лишь дворцовая должность со сравнительно небольшим жалованьем, зато связанная с постоянным пребыванием вблизи царя. Последующая карьера зависит не столько от каких-то определенных действий, собственно службы, сколько от умения не потерять или, наоборот, увеличить расположение государя.

Зато сразу после прихода к власти нынешнего царя Петр Апраксин получил назначение воеводой в Нижний Новгород — в конце 1699 года. Но уже через год Петр попробовал перевести воеводу в свой так называемый «ближний штат» и разочаровался в его возможностях. Петр Апраксин почти сразу был возвращен в Нижний Новгород, но теперь уже для того, чтобы набрать себе два полка, с которыми ему предстояло прикрывать северную границу государства.

О Петре Апраксине все отзываются как об исполнительном чиновнике, но пока он еще не имел случая проявить по-настоящему свои таланты, если таковые имеются. Ему сейчас около сорока лет.

Но постоянным спутником царя является другой Апраксин — Федор. Он занял свою первую придворную должность стольника десяти лет от роду, при царе Федоре Алексеевиче, и в ней же был переведен правительницей Софьей к маленькому Петру.

Федор Апраксин стал одним из первых «потешных» — будущих гвардейцев Петра I. Двадцати одного года он получает от царя назначение воеводой в Архангельск и предпринимает там, в устье Северной Двины, необычайно понравившийся государю шаг. Молодой воевода строит на местной, наскоро организованной верфи корабль и посылает его с товарами для торговли в Западную Европу.

В результате в 1695 году, когда формировались Преображенский и Семеновский гвардейские полки, Федор Апраксин, оставаясь воеводой, получает очень престижный чин поручика Семеновского полка.

Спустя два года, перед выездом на Запад Великого посольства, царь именно ему поручает главный надзор за судостроением в Воронеже и по возвращении остается чрезвычайно доволен трудами Апраксина. В феврале 1700 года Апраксин назначается главным начальником Адмиралтейского приказа со званием адмиралтейца, смысл которого, впрочем, остается, для меня во всяком случае, неясным, хотя и свидетельствует о глубоком уважении.

В настоящее время заботы о северном флоте и гаванях сменились для Федора Апраксина созданием обороны России на южных рубежах: он стал азовским губернатором. Трудно себе представить, как много делает для русской армии этот человек. Его усилиями азовский флот получил за последние годы много судов. Федор Апраксин перестроил крепость Азов и построил заново город Таганрог с гаванью для военных судов и крепостью Троицкой, в устье реки Миус, и Павловскую крепость. Его же энер-

гией старая воронежская верфь снабжена уже доками и шлюзами, учреждены новые верфи — в городе Таврове и в Новопавловске.

Собрать все эти сведения, должен признаться, не стоило особых трудов. Достаточно пообщаться с теми, кто работает в Адмиралтействе. Известно, что царь сказал о Федоре Апраксине: «Пока Федор Матвеевич на юге, я могу спокойно воевать на севере. В случае надобности он легко сменит топор и рубанок на любой вид оружия и, Бог ему в помочь, выиграет!»

При этом Апраксин, как никто, умеет сохранять субординацию и, несмотря на лестную близость с царем, всегда предпочитает официальность в переписке, так что государь не раз, как утверждают свидетели, делал ему выговоры. Привожу передаваемые из уст в уста пересказы: «Тебе можно знать (для того, что ты нашей компании), как писать».

В связи со столь достойным и близким монарху сановником не могу не упомянуть о его младшем брате Андрее, подлинной паршивой овце в уважаемом семействе. Эта «паршивая овца» никак не отличилась по службе. Более того, известна своим буйным нравом, который, как говорят, всегда отличал боярство. До сих пор единственный достигнутый им чин — стольника комнатного при покойном царе Иоанне Алексеевиче.

Отеческие внушения близких и даже самого царя не имели никакого действия. Так, сразу после кончины своего государя Андрей Апраксин с группой слуг чуть не до смерти избил в поле у Филей, близкой подмосковной местности, сановника Желябужского с сыном.

Дело приобрело огласку, дошло до царя, и государь сам решил провести дознание. Однако, к величайшему его изумлению и гневу, Андрей Апраксин не только не повинился в содеянном, но полностью от него отрекся, несмотря на множество свидетелей.

Приговор оказался очень суровым. Государь наложил на виновника огромный денежный штраф и велел его публично бить кнутом, а до исполнения наказания держать на площади в железной клетке. От этого последнего драчуна избавили только просьбы сестры царицы, которая якобы на коленях вымолила освобождение брата от физического наказания. Последнее царь согласился заменить присвоением Андрею Апраксину прозвища Бесящий — сумасшедший, подверженный припадкам, которое было написано на специально заказанном его портрете. Этот портрет и поныне висит в ассамблейной зале царского дворца в любимой подмосковной резиденции государя — селе Преображенском.

Несколько дней назад мне удалось увидеть Андрея Апраксина на одном из приемов. Даже там он был в своей странной одежде, которую его обязал носить государь. На нем была черная, типа монашеской, ряса и широкая черная мантия с голубым шелковым воротником и капюшоном на роскошной узорной подкладке из парчи. В руках Андрей Апраксин держал достаточно странный, похожий на кардинальский посох.

У него длинные, ниспадающие на плечи волосы, вряд ли знакомые со сколько-нибудь достойным парикмахером, длинные тонкие черные усы и коротко подстриженная бородка. Но больше всего меня поразили его широко открытые глаза под высоко поднятыми бровями — с удивительно скорбным выражением. Заподозрить подобного человека в разбойничьих выходках крайне затруднительно, скорее в постоянных постах и молитвах.

Но пример с младшим Апраксиным я привел не столько испытывая ваше, милостивый мой государь, терпение, сколько из желания нарисовать наиболее полную и всестороннюю картину здешних придворных нравов. С государственной точки зрения совершенно особый интерес представляет генерал-фельдмаршал Федор Головин, который на двадцать с лишним лет старше государя. Это настоящий крепыш с короткой, едва угадывающейся под модным париком шеей, очень плотного телосложения, с крупными чертами лица и пристальным, сверлящим взглядом. Согласно европейской моде он тщательно выбрит и носит только короткие, очень тонкие усики.

О Федоре Головине все говорят с большим почтением как о прирожденном военачальнике, который среди солдат себя чувствует много лучше, чем на придворных ассамблеях и официальных приемах. Во время недавнего правления царевны Софьи он защищал границы Российского государства вблизи Китая — на берегах реки Амура, и делал это, судя по всему, достаточно успешно. Петр счел нужным забрать Федора Головина в свой первый, неудачный, Азовский поход.

«...Ныне застою в Витебске и никуда без указу не пойду. Фельдмаршал Б.П. Шереметев — Петру. 1704. Декабрь».

Это как же понимать надо? Это что старый хрыч удумал? Государь вскипел. Так вскипел, что страшно стало. Не гнева. Петр Алексеевич, ежели с умом к нему подойти, зол да отходчив. Коли подождать, так и уговорить, даром что царь, вразумить можно, коли с младых ногтей его знаешь. За него самого страшно сделалося. Лицом багровый. Глаза выкатились. Слюна на сажень брызжет. Руки воздух ловят. Чуть мимо лавки не сел — спасибо, люди поддержали.

Заикаться стал. Как матушка его покойная, государыня Наталья Кирилловна. Та всегда от гневу заходилася, только что не водой отливали. Слов не слыхала. Всех наотмашь ударить норовила.

Нехорошо так — при придворных-то. Не столько увидят, сколько славы дурной разнесут. Да разве скажешь. Годы государевы не те. За тридцать перевалило — какие уж тут советы да увещевания.

— Слышал, князь-кесарь? Слышал? — По покою, как бык в загоне мечется. — Тебе говорю, князь-кесарь!

— Слышал, государь.

— Слышал, а молчишь! Чего молчишь? Стариковскую руку держишь? Чуть что, резонов кучу в его пользу наметешь?

— Может, и не в его, только и не в твою, государь.

— Что?! Что мелешь?!

— Дело военное, государь. Тут перво-наперво во всех обстоятельствах разобраться надо.

— Так разбирайся! Глухарем обомлелым не сиди!

Как тут его величеству скажешь! Потерял ведь Борис Шереметев весь корпус офицеров своих под Нарвой. Потерял. Пушки отлить можно, хоть и нелегко придется. Ядра. Повозки подсобрать. Лошадей. Все, известно, враз не делается. А люди? Людей как растить да на верность проверять?

Говорено о том. Мало только. Государь все на шведов валит: мол, договору не держат. Не держат — на то и враги. Что им слово дороже дела когда станет?

Вот и пришлось опять Шереметева голубить да в милость возвращать. Плохо ли, хорошо ли фельдмаршал воевал, может, и не по новым правилам, так выигрывал. А уж коли старую повариху к печи поставил, в горшки да кочережки ее не суйся.

Не сойтись им — государю да фельдмаршалу. Никак не сойтись. Государь — чисто синь-порох. Все бы ему на вчерашний день готово было. А Борис Петрович — что поделаешь, и не вспомнить, когда торопиться начинал. Все с досмотром лишним да с оглядкой. Пока рассчитает, покуда распорядится. С солдатами тоже. Убить-то, говорит, человека дело простое. У Господа Бога ворота завсегда остежь открыты: заходи, грешная душа, на последний суд да упокоение. А вот чтоб из пекла вывести, для иного раза живыми да здоровыми приберечь — вот где хитрость-то полководческая.

В конце ноября государь распорядился Борису Петровичу в поход против Левенгука шведского идти. Сам же оговорил: когда, мол, реки станут, иначе какие дороги.

То ли послушался фельдмаршал государя, да тепло долго держалось, то ли как, а собрался фельдмаршал из Пскова в конце декабря. Поло-

жим, и тут не больно торопился: не любит Борис Петрович воевать зимним временем. За три недели до Витебска добрался...

Тут и оказалося, что фуража для конницы в обрез, а то и вовсе не хватить может. Куда ж тут на врага идти? Вот и положил Борис Петрович в Витебске холода да снег переждать. Фуражом запастись. Государю написал: «Ныне застою в Витебске».

— Чего отмалчиваешься, Федор Юрьевич?

— Молчи, государь, не молчи, а без фуража далеко не уйдешь. Искать его надобно.

— «Искать»! Он тебе его к лету сыщет! Теперь первого сенокосу дожидаться станет аль и вовсе урожаю овса.

— Шутить изволишь, Петр Алексеевич. А только по тамошним местам, так полагаю, с крестьян много не наберешь.

— Это почему же? Что они, скотины не держат? Богаче наших живут. На скотных дворах теснота какая!

— Только ты и то, великий государь, в расчет возьми, сколько раз по тем местам война прокатывалась. За каждым разом с крестьян поборы были несчитанные и немереные. А уж что для себя припасли, помрут — не отдадут.

— По-твоему выходит, пусть Шереметев свою волю творит? Все планы кампании на свой лад перекраивает?

— Э, нет, Петр Алексеевич, самовольничать никому в державе твоей не дозволено. А вот ежели какой способ измыслить, чтобы сам Борис Петрович рукава в деле своем засучил. Подстегнуть его вроде. Он в деле, ему и выход искать. Найдет, государь, как пить дать найдет.

«...И сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справитца, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды выну. Петр — Б.П. Шереметеву. 1704. Декабрь». Письмо государево полководцу! Придумал! Это же надо такое: ровно плетью Бориса Петровича отстегал при всем честном народе, да еще штаны опустил — для вящего позору.

Ведь как оно вышло. Был в армии русского царя один фельдмаршал. Мало Петру Алексеевичу показалося. Али на разговоры всякие пустые позарился. Только в 1704-м году еще одного маршала завел. Иноземного. Из шведов, мол, он ли нам все военные хитрости не раскроет. Барон как-никак. Персона высокая. Ответственная. Огильви Георг. Так с лета того года в армии нашей два фельдмаршала оказалися.

Много ли проку, время быстро показало. Барон в последних числах июня в армию прибыл. Государь в те поры к Дерпту отъехал: корпус шереметевский его осаждал. А наемника командовать всей нашей пехотой под Нарвой назначил.

Чем швед нашим показался, не угадаешь. Алексашка — тот мог и за щедрый подарок расстелиться... Мелким бесом перед государем рассыпался. Мол, уж таково-то барон в делах ратных искусен, что всей армии шведской один противостоять способен.

Диво, что Федор Алексеевич Головин свое веское слово сказал. Как-никак Посольским приказом ведает, толк в людях должен понимать.

О Нарве нынче и толковать нечего. Было — прошло. Только государь опять барона в расчет принял. Надо же такое — решил оставить Борису Петровичу одну кавалерию, а шведу пехотные полки.

Рассуждение такое было. На большое сражение швед не пойдет, выходит, пехота не понадобится, а мелкие вылазки да стычки Борис Петрович своей конницей пресечет. Старый лис, его не проведешь.

Ну и острастка тоже нашему молодцу. Чтоб на печи не залеживался, за дело резвее брался.

Известно, государева воля, государев разум. Толковали с Петром Алексеевичем. Не раз толковали: медлителен больно Борис Петрович. Не в версту шведам.

Так-то оно так, да другого не видно. Вон баба на кочережку жалится: и коротка, и несподручна, а все едино горшками шурует. Применяется.

А тут человек живой. И себя понимает. И от обиды не заговоренный. Виду не покажет, так не в виде дело.

Не выдержал Борис Петрович. От обиды как есть задохнулся. В постелю слег. Дохтур, да не один, толкует: лечиться надобно, беречься. Уж на что лишнего слова не скажет, на речь расчетлив, а тут на письмо частным порядком решился — объяснить ему, чем государя прогневал, за что милости царской лишился. Ведь иной в Москве да Кремле вьется, а Шереметев годами из походной палатки не выходит. Забыл, как за дубовым столом попировать толком.

И надо же Александр Данилыч все уладил. Подольстился к государю: мол, так и так, не лучше ли, ваше величество, все в неизменности оставить. Бориса Петровича прикрыл да и успокоил. Сам ведь, сам писал: Огильвий «зане во всем деле искусен и бодро опасен есть». Чуть что не головой за барона ручался, а тут — на тебе, на попятную.

Оно верно, все к лучшему. Борис Петрович поуспокоился, с силенками подсобрался, к походу на Митаву готовиться стал. От государя реляция успокоительная ему пришла: мол, сделано то было не для какого фельдмаршалу оскорбления, но ради лучшего управления.

Государь только руками развел. Передовым своим отрядом наш фельдмаршал без малого весь гарнизон митавский истребил. Не ожидали шведы такой прыти от Шереметева. Тоже к характеру Бориса Петровича попривыкли, а тут на тебе!

Что до меня, скрывать от Петра Алексеевича не стал: Митава — хорошо, да ведь она только начало. Главное — с корпусом Левенгаупта справиться, от Риги его отрезать.

Борис Петрович свою хитрость придумал, чтоб от государя оборониться. Сам ли придумал, аль кто подсказал: военный совет составил. Тут уж не на одного Шереметева гневаться, не его одного шведским бароном подпирать, а синклитом целым.

Совет и решил в лоб позиций шведов не атаковать: больно крепки да в деле проверены, тут без потерь огромных не обойтись. Сам говаривал Петру Алексеевичу еще в кожуховские времена: солдат растерять — кампании не выиграть. Как-то раз не удержался: «Это что же, государь, за виктория, коли ты один как перст со знаменем окажешься? Человека за год не вырастишь, а солдата тем паче».

Совет к чему пришел: чтоб выманить шведов из лагеря обманкой — ровно обходит их наша часть, а там и ударить с фланга, для чего лучшую кавалерию в лесу припрятать.

Оно бы и согласиться можно. Коли хитрость удастся. Сумнительным мне показалося: неужто шведы в ловушку попадутся? И местность они там лучше нашего знают, и лазутчиков в достатке имеют. Да ведь как тут со стороны судить: кто в деле, тот и в ответе.

«...Несчастный случай учинился от недоброго обучения драгун. Петр о поражении русских войск. У Мур-мызы. Июль 1705». Так прямо государь и написал. Без оглядок.

Государь совсем власть над собой потерял. Сорочка врасхлест. Галстух на боку, только что на спину не съехал. Волосы разметались. Одной рукой поправляет, другой тормошит. Щека дергаться начала.

— Слыхал, князь-кесарь? Слыхал, чья правда выходит? Сколько мне талдычил, лишь бы солдат справен был, сыт, обут, одет, а про науку вполуха слушал. Что теперь скажешь? Что?!

Что говорить — не вышла у шереметевского военного совета хитрость их неприятеля выманить. Выходит, шведы не хуже ловушку задумали да ловчее провели.

Осторожен-осторожен Борис Петрович, а тут маху дал. Собственной тени перепугался. Да нет, добычу не хотел упустить.

Шведы только зашевелились в перелеске, у полковника Кропотова в мыслях засвербело: «Уходит противник! Как Бог свят, уходит!»

Никаких команд не стал ждать — полк в атаку поднял. За ним — известное дело, другие части наши увязались. А кругом шведы. По флангам.

Одно понятно: гибель неминучая. Всех, как курят, перебьют шведы. По одному. Фельдмаршалу что делать? Своих спасать. В атаку-то они кинулись, а дальше что?

И выручил бы. Людей много. Амуниции в избытке. Только драгуны как увидали шведский обоз, грабить его принялись. О всякой атаке забыли.

Шведам Бога благодарить за такой случай. Порядки свои смогли перестроить. Части подтянуть.

Да и Борис Петрович от себя неприятеля порадовал. Ночью кто воюет: все по своим обозам укрылись. А Шереметев на поле боя тринадцать пушек оставил да десять знамен — шведы на заре подобрали, победу стали праздновать.

Две недели без перестачи праздновали. Едва не все винные погреба перепили. На то, что в церквах Митавы места для покойных не оставалось, внимания не обращали. Велики потери, зато велика и победа. Попы ихние отпевать не успевали да еще молебны благодарственные служить.

— Что молчишь, князь-кесарь? Оправдание выдумываешь?

— Петр Алексеевич, побойся Бога, первый раз Борис Петрович поражение потерпел. За всю свою жизнь первое.

— Нашел оправдание! Сам знаю, что первое. И слов ему никаких обидных отписывать не стал. Знаю, каково ему.

— Вот и слава Тебе Господи!

— Так думаешь, князь-кесарь? А мои солдаты? Мои солдаты где? Воскресишь мне их, других ли наберешь?

— Помилуй, государь...

— Сердобольный какой выискался! К тому говорю, что мало солдата одеть да обуть, оружие справное дать. Учить его надо! Слышь, князь-кесарь? Учить! И в учении пощады не знать! Воином он должен быть. Воином — не грабителем. Ишь, как на чужое добро потянуло. Фельдмаршал виноват. Распустил бродяг! Волю какую дал! С победой бы определились, тогда другой разговор: бери что душе твоей угодно. Тогда — не в бою.

— Ничего не скажу, государь. Твоя правда. Чтобы все как есть по приказу.

— И учить! Чтоб всех учить!

Так оно всегда и бывает: поторопился государь с Мур-мызой. Никому доверить не может — сам командовать помчался. Велел Борису Петровичу каждому солдату строго-настрого приказать под страхом смертной казни за врагом очертя голову не мчаться. Непременно с оглядкой. Да еще и шагом.

Коли сам появился, все уразумели: шуток не будет. Четвертого сентября Митаву взяли, через девять дней Вауск. Шереметева в стороне оставили. Все команды от государя исходили. Военный совет тоже побоку.

От побед разгорячился. В удачу поверил — что повернуть ее в нашу сторону удалось. Корпус шереметевский приказал поставить промеж Риги и Митавы. В Риге Левенгаупт стоит — чтоб не пришло ему на мысль помощь осажденным крепостям посылать. Помолодел государь — ровно десяток лет с плеч сбросил. А тут письмо. О Господи! Из Москвы. От Бориса Алексеевича Голицына. Воевода-де сидит в городе, хочет с города сыт быть, а я-де полку полковник, завсегда хочу с полка сыт быть и напредки, покуда поживу в полку, буду сыт и стану брать.

— Бунт в Астрахани, слыхал, князь-кесарь?

— Не слыхал, так ты сказал, государь.

— Бунт! Без малого триста начальных людей стрельцы и горожане перебили. Триста!

— Погоди, погоди, государь. Кто доложил-то?

— Сказал же, князь Борис Голицын отписывает. Никогда-то толком доложить не умел, а тут и вовсе письмо сумасбродное. Кого хошь в сумнительство введет.

— Вот тут и надо разобраться.

— Ты что, князь-кесарь, фельдмаршалу нашему уподобиться захотел? Лишь бы время тянуть, а с бунтом действовать надо. Времени не терять. Человека посылать надо. Немедля.

— Вот и обдумай, государь. Астрахань город непростой.

— Да и не город вовсе. Сборище людишек пришлых. Разного роду, разного племени, а вот поди ж ты, как бунтовать, так в одну ватагу сбились. Москву воевать решили.

— Неужто князь Борис Алексеевич еще и такое отписывает?

— Отписывает, отписывает. Вон читай!

— На Москву! Эва куда замахнулись! Только такого, Петр Алексеевич, без главаря не бывает. Вожак любой ватаге нужон. Его за жабры хватать, а то и...

— На дыбу, проклятого, на дыбу, коли такой найдется! Человека посылать надо!

— Бунт, государь, бунтом, да ведь у каждого бунта свои узелки-причины есть. На ровном месте разве прыщ вскочит, а тут вишь сколько народу сбилося.

— «Причины»! Чего их искать? Сколько туда одних стрельцов-бунтовщиков сослано. Тьма-тьмущая!

— Верно, государь, и после резни, когда тебя на отеческий престол выкликнули. Чуть что не целый Кремль их тогда к Красному крыльцу набился. Всех в железа, в телеги и на Каспий. Да и ты сам, когда из Великого посольства возвернулся, после Преображенского приказа да правежа скольких сюда же наказал свезти.

— Чего же еще голову ломать?

— Да то, что, окромя стрельцов, там народ кругом шалый, пришлый. Сколько народу на воеводстве там перебывало, все одно твердили. Людишки деньги гребут не лопатой, так совком. Промыслы-то какие! Что ловля рыбная богатеющая, что самосадочная. В летние месяцы, сказывали, столько народу собирается — на земле вповалку, без стен да крыши спать ложатся. Весь город в харчевнях, а в них и места свободного не найти. Что людишки заработают, то и прогуляют.

— Торговля там.

— Погоди, государь, торговля. Дай про бурлаков досказать. Тоже народ вольный, лихой. Таким под горячую руку не попадайся. Вниз по Волге баржи с хлебом ведут, наверх и рыбу, и соль, и товары восточные тянут. Опять же в Астрахани и работу ищут, и гуляют.

— Про купцов знаю. Армянские там, гилянские, бухарские, индийские. Не приезжают — там живут.

— А чего ж им от своего дела уезжать. Известно, на одном рынке надежнее.

— Не припомню, кто с Посольского приказу докладывал, — в самом центре Белого города расселились. Тут тебе и Индийское подворье, чуть что не напротив Персидское. По приказу дедушки, государя Михаила Федоровича, каменные построились. Послы когда с Востока тянулись, все у них останавливались. А теперь, выходит, воры треклятые все разнесут-разграбят. В моей державе!

— За купцов, Петр Алексеевич, покоен будь. Купцы что твои бараны — не успеешь постричь, а уж опять шерстью обрастают. Тут к городу примениться надо.

— Еще что выдумаешь! Воры они и есть воры!

— Так-то оно так, государь. Только я тебе про Стеньку Разина напомнить хочу. Тебя-то тогда и на свете еще не было. Батюшка твой, блаженной памяти государь Алексей Михайлович, только-только супругу свою первую схоронил. Год у него такой тяжелый, не задался ни по делам государственным, ни по обстоятельствам семейным. А тут Стенька.

— К делу, князь-кесарь, к делу! Не хватает мне нынче твоих баек!

— А ты, великий государь, малость передохни, а там и с мыслями собираться станешь.

— Хватит! Дохтур какой сыскался!

— Хватит так хватит. Значит, вор Стенька со всей своей ватагой разбойничьей как раз о ту пору из Персидского походу ворочался. Лихо пограбили молодцы, еле добычу волокли, а до ихнего Дону путь еще далекий. Устье волжское пройти надобно, по Волге — не иначе — вверх до царицынской переволоки подняться, а там уж и в донские степи перебираться. Астрахани не миновать, а сил ее воевать никаких нету: крепость могутная, народ в ней к ратному делу издавна приучен.

— Так ведь взяли же город.

— Взяли, государь. Как не взять, когда перед тобой ворота городские отвором стали.

— Как это — отвором?

— А так. Воевода князь Прозоровский давно всех поборами своими одолел. Народишко на него великую злобу копил. Кто побогаче, тем и вовсе круто доставалося. Вот они-то и решили перед атаманом разбойничьим город открыть.

— Назло воеводе?!

— И так можно сказать. Только вернее будет — беззакониям его.

— И Прозоровский с ними?

— Миром решали, государь. Куда боярину одному было деться? Согласился. Каждому своя шкура дорога. А у Прозоровского она уж давно свербела — ему ли не знать, до чего доиграться мог.

— Что ж за себя купчишки не поопасились? Откуда дерзости набрались?

— Что скажешь, больно хитер вор был. Его казаки, в какую толпу ни попадали, все вокруг себя золотые дукаты раскидывали. Каких еще доказательств людишкам нужно?

— Так это людишки. А купцы?

— И на них у него приманка была. Казаки за бесценок добычу свою на площадях да торгах сбывали: тут тебе и ткани атласные да шелковые, тут тебе посуда дорогая, тут тебе и драгоценности всякие. Кто бы не позарился! Да что там купчишки. Стыд вспоминать, сам воевода у разбойника чуть не на коленях себе шубу соболью вымолил.

— Прозоровский?!

— Он самый. Сказывали, Стеньке неохота была великая рухлядь такую бесценную воеводе отдавать. Мало того — упредил воеводу: мол, возьми себе шубу, да не было б шуму.

— Брехня, князь-кесарь! Чистая брехня.

— Брехня, великий государь? Тогда с чего бы батюшка твой государь Алексей Михайлович велел у разбойника о той шубе в пыточной спрашивать, как того в Москву привезли?

— И что — подтвердил?

— В пыточной, государь, что хошь подтвердишь. А людишки астраханские в тот раз уж как ликовали. Да что людишки! Разбойничьим стругам, как по Волге, шли первый наш военный корабль салютовал. Залпом. «Орел», как сам помнишь, назывался.

— Вот это измена! Всех на виселицы вздернуть надо было!

— Измена, спору нет. А насчет виселиц, так тут, великий государь, не ровен час, все земли обезлюдить можно.

— Не жалко.

— Известно, чего жалеть. Да ведь кто-никто за тебя воевать должен, хлеб сеять, дань приносить. Скольких людей бык может перепороть да угробить — кто ж его за то на бойню отправит. Кольцо в нос вставят. На привязи крепкой да под досмотром держат, а забить ни-ни.

— Что дальше в Астрахани приключилось?

— Постояли разбойники две недели, разбою не чинили и с миром на Дон ушли. Да не надолго. Передохнули у своих, отъелись, амуниции набрали да и в поход — Астрахань воевать. Знали, с пустыми руками им ворот городских не откроют. На мученика Зосиму подошли к городу, через день, на мученика Мефодия, к штурму приступили.

— Как это к штурму? А куда стрельцы, иноземцы-наемники подевались?

— Поначалу, как положено, воевали, а когда разбойники силы стали терять, людишки астраханские взбунтовались. Взялись до всяких воров-разбойников сами дворян, сотников, детей боярских рубить, а дома их громить да добро растаскивать. Что стрельцы, что наемники наутек пустились, так что к утру разбойники Астрахань заняли. Сколько тут народу положили, не счесть. Самого князя Прозоровского с Раската посередине кремлевской площади скинули. Убился воевода насмерть.

— Мало псу поганому! Мало! Да к чему ты мне все это говоришь, Федор Юрьевич? На день нынешний к чему?

— Помилуй, государь. Договорить-то, коль слушать начал, дай. Без дела не стал бы время твое занимать.

— Ну говори, говори же!

— Так вот Астрахань дольше всех разбойнику верность хранила — все на людишках одних держалось. Дольше всех крепостей, что бунтовщики под свою руку привели. Почти что зима началась, когда сдались. Когда атамана-то ихнего Стеньку уж в Москве казнили. Может, без этой вести и дальше бы держались.

— И что же?

— Одно хочу тебе, государь, сказать: человека туда посылать надобно в военном деле сведущего, многоопытного. И еще — казнокрадством и взяточничеством не больно запятнанного. Чтоб в народе о нем, как о князе Прозоровском, сказок про то не сказывали. С наскоку там немного навоюешь. Разум нужен холодный да вострый.

— Кого на примете держишь?

— Может, и держу, государь.

— Так выкладывай. Времени у нас в обрез.

— Не серчай, Петр Алексеевич, прежде тебя говорить не стану. Коли с моим совпадет, хорошо, коли нет, еще раз взвешу да подумаю. Дело тут куда какое непростое.

— Вижу. Что еще знаешь, выкладывай.

— На этот раз тебе, великий государь, не миновать с нынешним воеводой считаться, с Тимофеем Ржевским. О нем уж какой год недобрая слава идет. Хлеб перепродает — карманы набивает без счету. Купит дешево, своим же горожанам продает дорого. Ни от кого не таится. С налогами лихо обходился. Сколько раз налог дороже товара становился. Ни тебе торговли, ни выгоды для купцов. Бога забыл, как есть забыл.

— Погоди, Федор Юрьевич, да ведь мы не раз Ржевского поминали добрым словом, что за новшества горой.

— Ты поминал, Петр Алексеевич, особо похвалял, что без милости лихо бороды да полы у кафтанов стрижет.

— Верно. А тебе, выходит, не в масть.

— Не в масти дело, государь. Хочешь немецкое платье вводить, твоя государева воля — вводи. Только воевода на твоем деле такой приработок себе устроил, что на-поди. Со всех поборы брал. Платишь — все тихо обойдется, заартачишься — такого позору на площади кремлевской нахлебаешься, что жизнь не мила станет.

— Из-за одних бород бунт? Смеешься, Федор Юрьевич?

— Не из-за них одних. Твоя воля была стрельцов не то что здесь, а и в Астрахани поприжать. На сколько ты им жалованье уменьшил? Страх сказать, едва не на половину, оброк дрова возить на селитряные заводы увеличил. Полковники тамошние рады стараться: коли государь сам не милует, в опале держит, то чего нам, грешным, теряться. Едва не до нитки раздевать стрельцов стали. Тут уж до заговора рукой подать. В ночь на Иоанна Воина по набату и встали все вместе стрельцы да купцы. Что Голицын-то пишет? Воеводу казнили, а с ним еще триста персон начальных людей. Да ведь гляди, государь, кого в начальники себе выбрали: ярославского купца Якова Носова да своего же бургомистра Гавриила Ганчикова. Против бургомистра-то ничего, выходит, не имели.

— Что ж, надо бы тебя, князь-кесарь, посылать, да ты у меня всегда под рукой быть должен. Не верю никому, не верю. Значит, Шереметев. Он и за военной стороной проследит, и с людишками разберется. Вот только здесь...

— Здесь ты сам, государь, разберешься, дела не оставишь. А Астрахань — ворота наши южные. Там шутить никак нельзя.

— Ну, ин и быть по сему. Готовьте указ, чтоб фельдмаршалу нашему немедля в путь собираться.

Б.П. Шереметев — Ф.А. Головину. Осень 1705 года: «...только прошу, учини и мне братцки, как возможно, домогайся, как бы ни есть меня взяли к Москве, хотя на малое время».

По-разному срок зиме наступает, год на год не приходится. Тем разом поторопилась. На Артемия Веркольского все печи уже топились. В Преображенском приказе и вовсе. Не любит князь Федор Юрьевич стужи. Чуть что, так и шубу не скинет. Нахохлится и молчит. Все знают: жди беды.

— Почта нынче какая? От государя что есть?

— Штафет пришел, князь Федор Юрьевич. Из штабу. Минутку перед вами положу.

— На словах доложи.

— Гневаются, что по сей день Борис Петрович Шереметев до Москвы не дошел.

— Не наша беда. Хочет, поди, дома перезимовать.

— Вот и лета его тоже...

— На государевой службе лет не бывает. Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

— Фельдмаршал человек, известно, обстоятельный.

— Для кого обстоятельный, а для государя неизвестно каким окажется. Вон уж к нему другого фельдмаршала подпряг. Тут и подсуетиться бы в самый раз, а не хворями всякими отговариваться. Хворать да на печи отлеживаться каждый горазд.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство, драгун примчался: никак, боярин Шереметев прибыл.

— Какой тебе боярин. Фельдмаршал!

— Вот-вот, фельдмаршал. А с ним батальон солдат да эскадрон конницы.

— Как так? Не спутал часом, драгун? С ним два полка должно быть. Какие там эскадрон да батальон?

— Нет, ваше превосходительство, полков нет.

— Что я говорил, зимовать в Москве решил наш Борис Петрович. Ни до чего-то ему дела нет. Господи прости!

Не успел договорить, двери настежь: Борис Петрович собственной персоной. Запыхался, видно, как на крыльцо взбирался. Багровый весь. С лица пот градом. Воздух ртом что твоя рыба ловит, ловит, а голоса-то и нет.

— Здравствуй, здравствуй, фельдмаршал. Что ж это ты после такой дороги потщился в Преображенское ехать? Не ближний край, да и дома говорить-то за доброй трапезой куда способнее.

— Способнее оно способнее, да ведь ты, князь, сей час штафет государю отправишь, что прибыл Шереметев, а мне бы опередить штафет нужда великая. Вот и потащился в твой приказ.

— Ну уж как есть, так есть. Присаживайся, гостем будешь. Сейчас какую ни на есть закусочку спроворим.

— Какая там закусочка — плоть ублажать, когда которую ночь спать не могу. Гнева государева опасайся. За советом я к тебе, князь Федор Юрьевич. Разговор до меня дошел: правда, нет ли — назначение в астраханский вояж без тебя не обошлось. Ты мою персону государю присоветовал.

— Э, Борис Петрович, сорока тебе на хвосте вести такие принесла. Государь сам первый твое имя назвал. Что ж спорить с его величеством было? Да и незачем.

— Значит, не ты. Тогда прости, князь, что на тебя погрешил.

— Да нет, Борис Петрович, по моему разумению, тебе и впрямь отъехать от армии не помешает.

— Это как же понимать надо? За что немилость такая? Ты уж мне, князь, прямо скажи, стар я в жмурки да прятки играть.

— Не горячись, не горячись, фельдмаршал.

— Да что ты чин мой поминаешь, когда шведу бродячему такой же точно дал, да еще от Шереметева избавиться поторопился. Огильвий, вишь, к государеву сердцу припал. А знаешь, как государь на огорчение мое сердечное ответствовал? В письме что сам написал? Мол, сделано то не для какого вам оскорбления, но ради лучшего управления. Плох, значит, Шереметев стал, совсем плох. А коли руки мне связали, то нечего и за поражение у Мур-мызы казнить да выговаривать. У одной печи двух хозяек не бывает.

— Да ведь, сколько знаю, государь тебя, фельдмаршал, не только судить не стал — всячески соболезновал.

— Вот-вот, все на драгун свалил. Мало, мол, училися. Мол, с такими неумехами какие военные действия. Да еще прибавил о наказаниях всяких. Мало солдату страху в бою, а тут еще и угроза. Как здесь воевать? Как в бой идти?

— Охолони, Борис Петрович, охолони маленько. Про Астрахань все тебе скажу, сам увидишь, как доверяет тебе государь, какую надежду на тебя имеет.

— Вместо шведов с разбойниками воевать!

— Верно, фельдмаршал, с разбойниками. Только ты и то в толк возьми: со шведом ли, с каким другим неприятелем договориться можно, к миру прийти. А с разбойниками? Тут уж пощады быть не может и конца мирного не бывает. Надобно их переселить, и конец.

— Да почему фельдмаршал для смутьянов и сброду всякого запонадобился? Других, что ли, не нашлось? Вон Александр Данилыч у нас куда какой прыткий — всех перевоюет.

— Нельзя его, Борис Петрович.

— Это еще почему? Что он пороху не нюхал? В боях не бывал?

— Злобятся против него астраханцы. Так и говорят: мол, все ереси от еретика Александра Меншикова. Тут уж никакого соглашения не добьешься.

— А ты сам, Федор Юрьевич? Чего бы тебе туда не сходить походом? Не засиделся ли ты в своем приказе?

— Засиделся, Борис Петрович, твоя правда. Только и со мной ничего не получается. Государь так и сказал: какой, мол, из Ромодановского каратель, коли он сам, как астраханцы, за бороды да длиннополое платье стоит.

— Верно. Нескладно получается.

— Да и не захотел государь, чтобы я приказ Преображенский оставлял. Тут дел до конца века не переделаешь.

— Еще бы. На то и тайный сыск. Ну а Головин, скажем?

— Не стоит, Борис Петрович, литанию-то эту продолжать. Государь, скажу тебе, так рассудил. К Немецкой слободе и всем новшествам нашим ты непричастен. Верно?

— Да меня в столице и не бывает.

— О том и речь. Стрельцов не казнил.

— Упаси Господь от такого греха. В отставку бы тотчас ушел. Своих казнить!

— Свои не свои, о том толковать не будем, да и тебе не посоветую. А вот для астраханских стрельцов ты, фельдмаршал, истинный полководец. Шведов бить научился. Да к тому же из роду самого древнего и почтенного. Боярин — сколько бояр-то у нас осталось. Тебя и начальники послушают, и дворяне, людишки попритихнут. Для начала.

— А слушать-то зачем? Может, хочешь, Федор Юрьевич, чтобы я еще и переговорщиком каким заделался? Так этому не бывать. Не мое дело — и весь сказ.

— Не больно ли ты грозен, Борис Петрович? Ты лучше расскажи, что так в пути замешкался. Знаю, указ государев дошел до тебя септембрия 12-го.

— Верно, князь.

— Вот видишь. Государь тогда в письме оповещал, что будешь ты с конницею в две недели.

— Нешто в две недели к дальнему походу изготовиться можно. Известно, поспешишь — людей насмешишь. Мне такого не надобно. Тут и амуниция, и фураж, и...

— Твое дело, Борис Петрович. Только государь ведь тебя особо поторапливал. Богом просил незамедлительно идти в Казань. Было это на обретение мощей Дмитрия Ростовского, септембрия 21-го. В тот самый день государь и мне писать изволил. Да вот указ его у меня под рукой: «Как прибудет господин фельдмаршал к Москве, чтоб немедленно его со удовольством людей отправить в Казань». С той поры месяц прошел, как ни считай. Так что мой тебе совет: поторопись, Борис Петрович. Береженого Бог бережет, а ты и опаситься перестал, забыл о нраве государя нашего.

— Медлить не медлить, а уж коли до Москвы добрался, в домах да поместьях своих, хоть и накоротке, побывать надо. Давненько не видали они хозяйского глаза. Да и без полков куда пойдешь. Подтянутся, тогда и в путь пустимся.

— Бездорожья не боишься, господин фельдмаршал? Ледостав, того гляди, начнется — тогда что скажешь? Как перед государем отчитываться станешь? Костер-то астраханский сам собой не утихнет, и не надейся.

— Совсем, может, и не утихнет, а полыхать да разгораться не станет.

— Это почему?

— Сам, Федор Юрьевич, подумай. Царицын бунтовщики не взяли. Силенок не хватило. Земель своих не расширили. Скажем так, при своем остались.

— Откуда знаешь, Борис Петрович? Верно ли?

— Куда вернее. Свои люди туда съездили, обернуться успели, вот и докладывают.

— Лазутчики, выходит?

— А как без них прикажешь? Вот и выходит, что захватили бунтовщики земли промеж Астрахани, Гурьева, Черного и Красного Яра и Терками.

— Немало.

— Очень было бы даже немало, кабы земли там стоящие лежали, по-настоящему заселенные. А так степь одна. По ней зимним временем далеко не уйдешь. Корма взять неоткуда. Да и тут легше артиллерию выставить.

— Как же мне присоветуешь государю отписывать о самовольстве твоем, фельдмаршал? Может, докажешь государю свой план, может, и нет. А мыслей твоих передавать государю не стану. Твои они — тебе и писать.

— А что, если к Александру Даниловичу толкнуться? Ино ходатайствует перед великим государем. Николи ему в услугах не отказывал.

Хоть иногда и себе в ущерб. Да вот еще к слову, спросить тебя хотел. Девку в услужение ему на время пленную одолжил. Назад забрать хочу. Марту.

— А вот о девке пленной, фельдмаршал, раз и навсегда забудь. Нету ее, и имени такого более нету.

— Да ты что, Федор Юрьевич? Померла, что ли?

— Живет Катерина на дворе у царевны Натальи Алексеевны своим домком. Деток рожать будет. Лекари вокруг нее самые что ни на есть знаменитые.

— Господи, да неужто у государевой сестрицы?

— Так что лучше тебе от греха подальше держаться.

— Погоди, погоди, Федор Юрьевич, а что за Катерина за такая? Может, про разных девок толкуем?

— Потому что в нашу веру крестилась. Из лютеранской.

— Крестилась? Девка?

— Государыня царевна сама от купели восприять новокрещенку изволила. Сестры Арсеньевы ее то ли холят, то ли сторожат. С бабами николи ничего не известно.

— Арсеньевы? Дашка с Варькой? Выходит, не для Данилыча?

— Задубел ты, фельдмаршал, в походах своих. Совсем от жизни дворцовой отвык. Как тебе такое в голову пришло: государыня царевна для Александра Данилыча стараться будет. Нешто не помнишь, не любит его государыня Наталья Алексеевна. Чуть что, спуску не дает.

— Может, изменилось что?

— Ничего не изменилось. Только по нынешним временам Александр Данилыч Катерине Алексеевне чуть не ручку целует, от государя штафеты самолично привозит.

— Значит, Монсиха...

— Про Монсиху, коли милость государева дорога, и не поминай. В немилости она великой. Да что там, под арестом домашним. Не то что из дому выйти, в кирхе помолиться и то заказано. Одна-одинешенька в покоях век коротает. Так-то, Борис Петрович, у тебя свои баталии, а на Москве свои. Иной раз только руками разведешь.

— О Господи! А как бы это мне насчет Москвы-то, Федор Юрьевич? Может, потрудишься по старой дружбе, чтоб мне бока свои зимним временем в возке не ломать?

— Обнадеживать не стану, Борис Петрович. Посмотрю, что выйти может. Только и ты сам от себя старайся, лишь бы великого государя вконец не разгневать. Немилостив он к тебе нынешним временем, ой немилостив.

Князь-кесарь

— Государь... Петр Алексеевич...

— Князь Федор Юрьевич, наконец-то! Сколько тебя, старый хрыч, ждать надобно? Посылал ведь за тобой, не один раз посылал. Дел под конец невпроворот, а тут еще тебя дожидаться.

— Едешь все-таки, государь.

— А ты как думал? Всю Европу уже переполошили, все ждут русского царя. Готовятся, и как готовятся!

— Да бог с ним, с шумом-то. Его и на пустом месте учинить — невелика трудность.

— Так чего ж тебе? По моему зову пришел...

— Нет, государь, по собственному. Совесть велела, может, и ложку дегтю в твою медовую кадь примешать.

— То-то вижу, сычом глядишь. Чего тебе еще?

— Ходить вокруг да около не стану.

— Да уж, никогда не хаживал — все норовил напролом идти, только лес округ трещал.

— Государь, поразмысли еще: велика ли нужда тебе в путь отправляться?

— Ну, знаешь, князь!

— Все знаю, Петр Алексеевич, все как есть. Не моего ума дела, не старым хрычам о нынешних делах государственных судить, где мне за твоими министрами прыткими да вороватыми угнаться.

— Погоди, погоди, Федор Юрьевич, не закипай раньше часу. Если и есть правда в твоих словах, то ведь не она одна. Вспомни, ты меня и от Великого посольства удерживал — чуть не в ноги падал.

— Падал, падал и стыдиться того не собираюсь.

— А вышло-то как?

— Что вышло, государь?

— Да мало ли дел хороших со всей Европой.

— Реками крови политых.

— Неужто изменников на старости лет жалеть стал? Не водилось за тобой такого, николи не водилось.

— Чего не водилось, государь?

— С каких пор врагов государевых жалеть начал?

— Ну, коли враг, так тут уж одна расправа. Только ведь врагов-то могло и не быть.

— Как это? Забыл, как они за Софью поднялись?

— Поднялись. Прельстила их царевна. А был бы ты, государь, в своем дому, так и не случилось бы никакой смуты. Стрелец — что? Служилый человек. Ему начальник нужен. Крепкий начальник. А где такой в те поры был? По Европам шастал?

— Не их ума дело.

— Не их, кто спорит. А примениться к солдату надобно. Ему бы какой посул, какая подачка — он из строю ни ногой.

— А ты где был, старый хрыч? Ты-то что глядел?

— Ни меня, Петр Алексеевич, не путай, ни себя. Кнутом быть могу, может, и кнутовищем, а кнутовище-то рука держать должна. Только пес неразумный на кнутовище кидается, что поумней да постарше — на руку глядит.

— Да ты притчами да присказками мне голову не дури. Справились с изменниками, и делу конец.

— То-то и оно, что не конец, государь. Женок позабыл, как голосили у плах? Детишек, что от отцов отрывали? Через них все в крови семейственной осталось, и память эта куда какая стойкая.

— Ну и напугал, смех один! Женки да детишки!

— Зря насмешничаешь, государь, ой зря. Они-то все подданные твои, на одной земле с тобой родилися, в нее вместе нам всем ложиться.

— Их отцов давно пора было на иноземцев сменить. Те хоть дело военное по-настоящему знают.

— Знают, спору нет. Только война, Петр Алексеевич, труд особый. Стрелять иноземец изловчиться может, из пушек палить, а вот помирать, с жизнью прощаться — не иноземческое дело, ой нет. Зачем ему жалованье твое, коли в домовину ляжет? Родным с того света перешлет? Так на этом уже растащут. Ничто ни до кого не дойдет.

— Во всей Европе наемниками испокон веков пользовались. Не дурее нас были.

— От великой нужды, да еще крестьян берегли — о пашне да ниве думали. Да и то сказать — воевали! Куда им противу наших просторов. Дух испустят тут же.

— Ладно, надоел ты мне, князь-кесарь, ох и надоел. Наш Александр Данилыч...

— А меня, государь, прости на дерзком слове, ихняя милость не занимает. Твоя воля вору да мошеннику при твоей особе находиться, а уж чтоб еще мыслишки его вороватые выслушивать, уволь.

— Вороватые не вороватые, а меня Данилыч не предавал.

— Случаю не было, вот и не предавал. Или иначе до тебя, государь, не все доходило. Он сам не сподличает, своих подельников повсюду расставит. Одно слово — прокурат.

— Сказал, хватит душу мне перед дальней дорогой баламутить! И вообще, тогда Софья была, Милославские от двора не отошли — братец-то только-только преставился.

— А теперь, полагаешь, государь, округ благодать и тишина?

— Ты о чем? Не об Алешке же? Этот среди своих попов да пьяниц так завяз. Или слышал что?

— Не слыхал. Акромя разговоров «собора да компании».

— Да и Алексею я урок дал: либо с бесстыдством своим покончит, либо в монастырь пойдет, навеки среди своих длиннохвостых и останется.

— Думаешь, надо было, государь, такое перед поездкой твоей говорить?

— А как же! Пусть знает да выбирает, какой жизнью жить. Я его пару раз для ясности и дубинкой приложил. От души.

— Сына отцу поучить не грех, разве что поздновато. Не зря в народе говорится: «Бей сына, покуда поперек лавки лежит. Вдоль лавки вытянется — пустая наука».

— Да и округ Алешки одна шваль собралась. Ни одного человека толкового не сыщешь.

— Государь, и снова на дерзком слове прости: как учнут дрова ломать, тут уж людишки не важны. А под конец непременно кто-никто палку перехватит.

— Да ты что, и впрямь Алешки опасаться начинаешь?

— Не царевича, Петр Алексеевич, а тех, кто обидой наследника попользоваться захочет.

— «Наследника»! И все-то ты свое, князь-кесарь, талдычишь!

— А как иначе прикажешь, государь? Сын твой единородный, в законном браке рожденный, народу объявленный.

— Ну и что — объявленный? Обычай дурацкий! Кого захочу, того наследником и объявлю, хоть государыню Катерину Алексеевну. Моя воля, монаршая, слышишь, князь-кесарь?

— Слышать слышу, а все в толк не возьму: с чего ты, государь, каждый порядок переломать тщишься? Смысл какой?

— А тот смысл, что много их, благоглупостей, от предков нам досталось. Сколько мы с тобой, князь-кесарь, спорим — что ж, с каждой и мириться?

— С каждой, говоришь, Петр Алексеевич... Я от, государь, подумал, по какому резону обычай каждый сложился? Думаешь, до нас с тобой одними дураками земля русская полнилась? Потому в края западные и рвешься ума-разума набираться? Может, подправить что и надобно, так не под корень же дерево рубить, да еще и пень выкорчевывать, чтоб, не дай бог, от него побеги молодые да сильные не пошли.

— Как Алешка, что ли? Таких, как хрен на огороде, рубить да перетирать надобно. Не быть от него толку ни во веки веков. Дурную траву из поля вон, вот тебе и весь сказ.

— Государь, царевич Алексей Петрович твоя кровь, твое семя, да еще и на деда своего, блаженной памяти государя Алексея Михайловича, до чего ж похож.

— Так на батюшку и царевна-правительница похожа была. Уж не в нее ли твой наследничек пошел, а, князь-кесарь?

— Знаю, государь, не будет от нашего разговору толка. Знаю, что одна тебе от меня докука. Только слово я еще твоей родительнице покойной дал тебя оберегать да стеречь. Меня одного о том просила, крест целовать

заставила. Серчать на меня можешь, твое, государь, право, только и я молчать не смогу. Не нужно, ой не нужно тебе, Петр Алексеевич, в далекий путь пускаться, не нужно.

— Еще скажи, что и царевну Катерину Иоанновну замуж отдавать не след.

— Да она-то здесь при чем? Ее бы в самый раз в Москве с герцогом-то этим шалавым обвенчать. Уважения к твоей державе больше.

— Сам знаешь, король польский сюда не поедет, так что и толковать не о чем.

— Так ведь можно свадьбу отгулять, с королем потолковать да и обратно в столицу свою воротиться. А тебе, Петр Алексеевич, лишь бы по чужим краям пошастать, людей посмотреть, себя показать. Не государское это дело. Где это видано...

— Перестань, князь-кесарь! Не было видано, так будет. Пусть знают, какой в России государь, перестанут наших дичиться.

— Да кто там дичится, Петр Алексеевич, кто? От торговых людей отбою нет, умельцев разных видимо-невидимо разрешения к нам приехать добиваются.

— А не благодаря мне случайно, князь-кесарь?

— Что ты сам, десятник Михайлов, по верфям топориком баловался? Нет уж, государь, за глаза хватило бы законы издать да с пошлинами разобраться.

— А то, что я теперь в корабельном деле мастак, никому себя обмануть не дам, в расчет не берешь?

— Вот теперь ты и впрямь на меня разгневаешься, государь, а только то тебе скажу, что с умельцами да инженерами тебе николи не сравниться. Они в деле, они и в ответе, а ты...

— Ты что это, князь-кесарь, все старые споры решил опять переспорить? Вернусь, тогда и договорим, старый ты хрыч.

— А когда вернешься-то, государь? Не через год же?

— Может, и через два. Как охота припадет.

— Господи, спаси и помилуй.

— Чего ты переполошился? Твое дело за государством доглядывать. За Алешкой, если так он тебя тревожит. Еще о сестре заботиться. Хотел ее с собой в вояж взять, наотрез отказалась. Времени не было дознаться, чего так. Может, ты, Федор Юрьевич, известен? Царевна Наталья Алексеевна тебя как отца родного почитает.

— За уважение государыне царевне великое спасибо, а о делах ее я неизвестен. Ей виднее, коли отказалась.

— Прежде хотела. Книжки разные про города и страны читала, а тут ни в какую.

— Неможется царевне, государь.

— Сегодня неможется, завтра пройдет.

— Дал бы Бог.

— По себе знаю, порода у нас с ней крепкая. Или ты нарочно говоришь, чтоб меня удержать, Федор Юрьевич? Не удержишь. А за царевной пригляди, непременно пригляди. Лекарей у нас теперь развелось без счету. На каждую хворь свой сыщется.

— Как сумею, догляжу.

— Вот и ладно. А еще — затем и звал, ты за всеми доглядывай. Чиновник он и есть чиновник: где приворует, где взяткой разживется. Так вот, чтобы Бога не забывали. Тебе-то со стороны оно виднее будет. И чуть что — мне отписывай. Сам знаешь, другим не поверю, тебе — с полуслова.

— Годы мои, государь...

— И слышать не хочу! Приеду, во всем мне отчет дашь. Слышь, князь-кесарь? — Петр Алексеевич побагровел весь: — Про Прутский поход, князь-кесарь забыл? Все вы умные-разумные, а государыня Екатерина Алексеевна всех выручила, одна она способ нашла. Не так разве?

В руки себя взял: государя не переспоришь. А уж как государыню свою начнет хвалить... Как ему в те поры сказать про Монсихиного братца? Глядишь, все воробьи под застрехами чирикать про них двоих станут, а он...

Вон Федор Чиркин в приказ весть принес: в народе разговор, будто понесла государыня-немка от Вилима, будто Вилим про то знает, да и Алексашка треклятый не в стороне стоит. Ему что — лишь бы немку приструнить да поводок в руках держать. Кому как не ей его от государева гнева спасать с воровством его бездонным.

Федору молчать велел. Донос сжечь. А тут государь сам и скажи: на сносях государыня-немка. В тягости с ним и поедет, родов дожидаться не станет. Мол, ее величеству не впервой до последнего дня пировать да на ассамблеях плясать: она у меня вон какая крепкая.

— От нее, князь-кесарь, здоровое семя пойдет, только от нее — не от Авдотьи же постылой. Я за свое государство в ответе. А царевичу мало его «собора да компании», еще чухонку завел, света Божьего в окошке без нее не видит. Чем ему не супруга была покойница кронпринцесса? Что молчишь, князь-кесарь? Резонов не имеешь?

— Резонов не имею?! — Тут уж за сердце взяло. — Да как же ты, государь, во всем царевича наследника винишь, когда весь он в тебя удался. Весь!

Государь как есть обомлел:

— В меня?!

— В тебя, в тебя, говорю. Чем не царица Авдотья Федоровна была? Чем? Статью не вышла? Красотой не взяла? Вон князь Борис Куракин не из последних людей в твоем государстве на царицыной сестрице женился, так и по сей день нахвалиться своей Ксенией Федоровной не может.

Государь только что зубами не заскрипел:

— Замолчи, князь-кесарь! Старого не вороши, бог с ним.

— А я не про твое старое, Петр Алексеевич, а про царевичево новое, про день нынешний. Ты вот от жены отрекся, к чухонке сердцем прилепился. Таки и царевич также: ему и кронпринцесса ни к чему оказалася, нашел чухонку. Ты, государь, новую супругу себе из немцев ли, из чухонцев пленных выбрал, и Алексей Петрович у Никифора Вяземского пленную увел. Только ты попервоначалу словом обмолвиться с любой своей толком не мог: языка она не знала. А царевич на немецком что на русском болтать горазд: сразу сговорилися. Вот ты и скажи князь-кесарю по откровенности: не с тебя ли Алексей Петрович пример взял? Не тебе ли подражать решил? Сам мне по пьяному делу раз разоткровенничался: с чухонкой занятней. Твои слова, государь, вспомни, твои собственные, когда ты не к царице Авдотье в Москву возвращался — в Немецкую слободу летел.

Государь вскочил. Ноги врастопырку — шире плеч. Волосы разметалися. С седым припорохом — и когда только пошел?

— С кем ты его Евфросинью эту равнять решил? С кем, говори!

Подумалось, может, тут ему намеком и подсказать? Говорю:

— А может, немки, акромя расчету, знать ничего не знают? Может, все свои дела без души да сердца решают? Дело прошлое, а ведь как Монсиха на подарках да доброте твоей себе ложе упру-супружеское устилала, стать графиней собиралася. И граф-то ее дожидался, не торопился. Они, немцы, куда какие терпеливые, не нашему синь-пороху чета. Все семейство у них такое — один к одному. На первый взгляд, может, и не видать, а если по-настоящему присмотреться... — Сам своих слов испугался.

— Говори, князь-кесарь, все говори, что на сердце держишь!

Смалодушничал. Отрекся. Сказал:

— Никому из них не верю. Если копнуть глубже...

Государь только руками замахал:

— Вернемся, тогда посмотрим. Сейчас мне в колею не входи — не до тебя и твоих немцев.

«Моих»!

Не больно жалует князь Федор Юрьевич петербургские свои хоромы.

Крутой волной Нева пошла. С ней не разберешь: то ли в море катит, то ли к Ладоге поворачивает. Вода бурая. Тяжелая. Ветер пену с гребешков рвет. Высоко вскидывает. Клочьями на берег кидает. Может, и не такая поздняя осень, а все зимой смотрится. Того гляди, из туч крупа снежная посыпется. Кто здесь снегу обрадуется! Одно слово — не Москва. Куда там!..

Не первый год зимовать приходится, а привычки все нет. Да и не будет. Зря Петр Алексеевич уговаривал: гляди, какая ширь, простор какой! Ровно на палубе стоишь. Под парусами. Ему по душе. Так двух людей одинаких Господь не создавал. Каждого иным задумывал. В Москву бы съездить. Передохнуть. А ну как депеша царская какая, приказ? Велел неотлучно в Санкт-Петербурге быть. Не верит придворным чинам, хоть вроде бы всех баламутов тем разом с собой в Европу позабирал. Сам ему советовал. Ан новая оказия: с царевичем. Никак, кто к крыльцу подъехал. Вот и думай тут о Москве.

— Федор Юрьевич, батюшка! Генерал-адмирал к тебе. С повязкой флеровой. Никак, прибрался кто, Господи спаси.

— Беги, беги, принимай графа Апраксина, Парфен! Все равно под дверью все дослышишь — без новин не останешься.

Из Европы, что ли, весть какая? Государыня императрица опять выкинула? Так новопреставленным младенцам, кажется, уж и счет потерялся. Пила бы меньше да в танцах кружилась — да где там! Уж на что располнела, весу набрала, а все молодой быть хочется. Гульливая баба, Господи прости.

— Федор Юрьевич, князь, знаю, надо бы тебе скорбного гонца послать, да не сдержался, решил сам приехать. Горе у нас, князь. Великое горе. Нет больше государыни Марфы Матвеевны. Приказала царица долго жить.

— Что ты, что ты, граф! Как же это? В одночасье. Царица наша русская. Последняя.

— Знаю, знаю, Федор Юрьевич, как почитал ты сестру. Едва не один изо всего двора ни одного праздника не пропустил, чтобы почтения ей не оказать, подарком дорогим не побаловать.

— Побаловать, говоришь. Да нешто ее царское величество баловать можно? Это она, покойница, царствие ей небесное, милость мне оказывала, что приношения мои принимала, благоволила ко мне да и к сыну моему. К ручке допускала. Это ли не честь великая!

— Другие-то не торопились. Как в Санкт-Петербург переехала, так и вовсе отшельницей поневоле стала. Да и то верно, государь не больно визитам к ней потакал. Теперь что уж, и правду сказать можно. Запер ведь ее в четырех стенах. Наглухо запер и сторожей приставил. Надо же слух такой пустить, что вроде в уме повредилась. Говорить путем с людьми не может. А ведь она от горя да небрежения в себе замкнулась. Оттого и слова лишнего не говаривала. Все смотрит, смотрит, иной раз вздохнет, да таково-то надрывно, жалостно, да и прочь в свои покои уйдет. Суди как знаешь.

— А со мной говорила, до последних дней говорила. Таково-то обходительно, ласково. Иной раз и улыбнется, ровно солнышко из-за туч проглянет. Уж какая красавица писаная была, да и теперь хороша оставалась. А когда свадьбу царскую с покойным государем Федором Алексеевичем играли, вся Москва чуду такому дивилась.

— Было. Все было. Из-за красоты и век ее загубили. Дело прошлое, все знали, что государь не жилец. Одна надежда — понесет от него молодая жена. Агафья покойная понесла, чего бы и ей не понести. Не успела. Того больше тебе, князь, скажу: не порушил государь Федор Алексеевич ее

девичества. Не порушил. Так и осталась после его кончины ни тебе девка, ни тебе вдова. Одна дорога — в монастырь. Спасибо, царевна Софья Алексеевна иначе рассудила. И покои ей царские оставила, и весь порядок дворцовый. Все расспрашивала: не хочет ли чего — нарядов каких новых, рухляди, украшений. Марфа Матвеевна наша, как дите малое, поначалу всему радовалась. Царевна Софья Алексеевна все норовила ее выше покойной царицы Натальи Кирилловны сажать. Ненароком вроде.

— Говоришь, Петр Матвеевич, как дитя малое. Вот уж нет, редкая разумница была государыня Марфа Матвеевна. Гляди-ко, ни с кем не поссорилась, ничего делить не стала. Царевна Софья Алексеевна, известно, за память брата держалась. Власть-то ее самой, чего уж теперь таить, не по закону была. А вот Марфа Матвеевна и с Натальей Кирилловной не тягалась. Уж на что покойница Наталья Кирилловна об интересах сына радела, как о правах его ревновала, только с Марфой Матвеевной всегда в мире жила. Дело прошлое, теперь и сказать можно, от самой царицы слышать доводилось: кабы вместо Евдокии Федоровны Марфа Матвеевна была, так и порядок в семье царской не порушился бы.

— Быть не может! Никогда такого не слыхал!

— Что ж, хоть задним числом, да услышал. Царица Наталья Кирилловна сама уж куда хороша была, а Марфу Матвеевну выше себя ставила. Мол, и красавица, и умница, и от такой ни один супруг на сторону не глянет.

— А сестра о том знала?

— Сам посуди, почем мне знать. Если только царица Наталья Кирилловна ей не говорила. Покойная государыня что твой синь-порох взорваться могла, такого высказать, что на исповеди не говорится. А на Евдокию Федоровну как досадовала. Сначала выгораживала, время прошло — во всем винила. Только постылой и называла.

— Спасибо, государь Петр Алексеевич милостив к сестре был. Это уж в последние годы...

— Полно, полно тебе, Петр Матвеевич, не греши зря. Если государь и поостыл вроде бы к Марфе Матвеевне, так оттого, что перестала на куртагах бывать. А уж как одежды черные на себя возложила, видно, тревожить не хотел. Волю ее уважал.

— Все-то у тебя складно да ладно получается, Федор Юрьевич, спасибо тебе. Знаю, и то тебе по сердцу было, что сестра так до конца немецкого платья не одела, голову дедовским обычаем убирать продолжала.

— Спорить не стану, граф. На мой глаз, оно и красоте женской, и государскому достоинству куда больше идет.

— Да уж, не переломил тебя государь.

— И не хотел, Петр Матвеевич. А ты сам скажи, каково прекрасно государыня Марфа Матвеевна гляделась в нарядах-то царских дедовских. Как в жемчугах хороша была.

— Спасибо тебе, князь, за добрую память. А и впрямь сестра больше всех каменьев драгоценных жемчуга любила. И кокошники-то жемчугом низанные, и ожерелья в ладонь шириной, и серьги — глаз не оторвешь. Да к тому же платье красное, серебром шитое, смолоду предпочитала. Так и светилась вся, даром что сверху еще одежду парчовую с темным мехом набрасывала.

— Соболевым. И собачку крохотную той же масти непременно на руках держала.

— Вот и помянули мы с тобой, князь, покойницу. Только я к тебе уж сразу и по делу, не обессудь. Я насчет похорон — чтоб по полному царскому обряду. Кому, как не тебе, перед государем слово замолвить. И место чтобы с царским семейством, а то ведь у людей память короткая: оглянуться не успеешь, забудут, что Апраксины к царскому роду причастны.

— Ах, ты об этом. Как не сказать.

— И как думаешь, каких мыслей государь будет?

— Врать не стану, граф, не знаю. Государь уж не тот, что был в давние времена. Иногда и поварчивал на покойницу. Один раз и мне выговаривал.

— Как скажешь, Федор Юрьевич, может, через государыню Екатерину Алексеевну....

— А уж это сам решай, Петр Матвеевич. В таком деле я тебе не советчик.

— Полагаешь, не по душе ей такая просьба придется?

— Ничего не полагаю, граф. Ты брат покойной русской царицы, тебе виднее, кого за ее память просить.

— Да видишь, Федор Юрьевич, я бы и сам к государю обратился... по былым временам. А теперь...

— Знаю, Петр Матвеевич, знаю. Не заслужил ты такой обиды и поругания. Говорил об этом государю. Не раз говорил. А он только отмахивался. Мол, порядок должен быть. Раз оказались в морском ведомстве беспорядки да кражи...

— Значит, должен за них денежные расходы начальник нести?

— Может, для порядка и следовало начальнику попенять, так ведь сам же государь тебя, граф, по своим делам куда только не посылал. Разве не так? Гангут без тебя никто бы не выиграл, всем известно. А что пока ты славу России в бою добывал, другие руки у ее казны грели, в чем твоя вина?

— Спасибо тебе, Федор Юрьевич, за справедливый суд. Да толку что? Воевать-то я воевал, а вышло — половину состояния провоевал. Как есть ни с чем остался. Вот и подумал: может, государь смилостивится, хотя бы часть имущества государыни покойной мне передаст.

— И то верно. Ты ли не наследник? Там одних камней...

— Бог с ними, с камнями-то. Я о земле, князь. Поместий у покойницы предостаточно было. Мне-то вокруг да около этих дел ходить недосуг. Сам знаешь. Тут и с флотом ходить надо ради прикрытия Ревельской бухты — сам же государь наказал, — исправлять да умножать галерный флот. Всего не перечтешь. А тут еще государь за рубеж собирается — неизвестно, когда обратно будет. Поместья-то все разнесут, разворуют. Хоть бы уж, худо ли, бедно, под присмотром их оставить. Сестриных управляющих никогда не знал, верить бы им не стал. Где ей разумных да местных набрать было. Не хозяйка Марфа Матвеевна, нет, не хозяйка.

— Твоя правда. Только и о покражах больших толков не слыхивал.

— Ты уж прости, Федор Юрьевич, что делами своими тебя донимаю. Только как на духу скажу: меня не будет, как бы наш Андрей Матвеевич к сестриному наследству не подобрался. Всем сестре обязан, да мало она от него благодарности видела. Жил себе по своей воле, даже службой не отягощался.

— Поручиться не поручусь, Федор Матвеевич, а что в моих силах сделаю. Только без ее царского величества. Сам от себя о заслугах твоих с государем при способности потолкую.

— Вечным должником сделаешь, князь. А засим откланяться разреши. Еще не знаю, как государь о похоронах распорядится: что братьям делать, что он по своей воле велит.

— Будь здоров, князь.

Пошел себе. Не больно-то о сестре опечалился. Может, покойницей она всему семейству важнее? Хворала голубушка, тяжко хворала. Может, и головой маленько ослабла. Недолгий век красавица прожила — полвека для царицы много ли! Последние годы с лица спала. Глаза что смолоду остались. Лоб высокий. Чистый. Брови вразлет вроде как выцвели. Притираний да румян никогда не знала, а тут и вовсе личико восковое. Ручку протянула — как лепесток облетевший: и весить ничего не весит, и цвету никакого. И камушка ни единого в уборе нету. Плащ себе придумала широкий, соболем обложенный. Шапка большая бобровая... Настоящая царица. Теперь что уж, прощай, государыня. Прощай, Марфа Матвеевна... Парфену не забыть сказать, чтоб на помин ее души вклад

в Воскресенскую кремлевскую обитель внес. Догадаются ли братья? Государь наверняка денег пожалеет. К живым не щедр, а уж к покойным и думать нечего.

Половица скрипнула. Раз. Другой. Известно, Парфен, как кот у припечка, крадется. Чего сразу не вошел — не иначе что удумал.

— Батюшка князь...

— Ну, выкладывай свои мысли, не томись.

— А что, если на помин государыни-царицы Марфы Матвеевны, упокой Господь ее ангельскую душеньку, деревеньку вблизи Троицы, на пятнадцать душ вложить? Помнишь, чай, на косогоре там — небольшая, да ладная. Святым отцам кстати придется, а и тебе урон невелик. Честиха называется. Пустошку рядом себе оставить можно — покосы больно хороши, а деревеньку в самый раз будет.

— Все рассчитал, выжига.

— Выжига не выжига, а, чай, у нас и наследничек есть — его обижать совсем ни к чему. А так, как ни крути, все далеко от Москвы выходит. Никому не с руки.

— С тобой поспоришь.

— Какой спор, батюшка. Да и собак дразнить не станем. Сам знаешь, каково оно при дворе-то: оглянуться не успеешь, оговорят да хулы всякой нанесут. А тут ты государю Петру Алексеевичу и скажи — ему чужая трата как нельзя кстати. Самому раскошеливаться не придется.

— Да он на память государыни Марфы Матвеевны и не станет.

— А тут как раз случай подвернется. Среди бояр о себе напомнишь. Мол, душой по-прежнему порядку нашему — не немецкому прилежишь. Плохо ли?

— Ладно, пиши бумагу.

— Вот и славно, батюшка. А в московской нашей церкви вклад на вечный помин тоже сделаем. Там никто и не заметит. А государыне покойной все приятно будет. Мало покойница радости в жизни-то повидала, пусть теперь душенька ее потешится. Последний раз с именинным пирогом к ней, голубушке, ездил, сама принять изволила. Молчит, а лик скорбный такой. Сразу видать — не жилица.

Одна, опять одна царевна Наталья Алексеевна. Видеть никого не хочет. Мысли чудные в голову лезут. К чему бы? Никогда в семье нашей о предках не поминали. С материнской стороны. Не то чтобы стыдились, а просто так — ни к чему память такая. А тут на-поди — то про деда Кирилла Полуехтовича подумается, то про бабку Анну Леонтьевну. К чему бы? Не к болезни ли? Говорят, так оно бывает, коли конец подходит. Так-то, царевна Наталья.

В мои-то годы? Быть того не может. Глупость одна. И старших никого не спросишь: все как есть прибрались. Вроде немалое семейство было, а пожилых нету.

Матушка-покойница тоже о родителях слова лишнего не вымолвит. Разве что род их от татарского мурзы Абатура, что после Мамаева побоища из Большой Орды в рязанские земли выехал. Богатств ни он, ни потомки его близкие не нажили. Служб заметных не служили. Хвастать нечем.

Со слов матушки, досыта не едали, а детей семеро по лавкам. Ни тебе обуть-одеть не на что, ни в печь поставить. Братцу Петру Алексеевичу добрые люди сколько раз советовали: на то, мол, и нахлебники при дворе, чтобы все, что надо, додумать да написать. Не хотел. Его дело. Да и чему здесь поможешь, когда кругом свидетелей пруд пруди. На каждую придумку резон приведут. Ссылать, что ли, каждого?

Жила ведь матушка у Артамона Матвеева прислугой — не прислугой, питомкой — не питомкой при живых-то родителях. Все приданое — красота редкая. Батюшка ни перед чем не остановился — под венец повел.

Не рано ли после батюшкиного вдовства? Может, кому и рано показалося. В феврале 1669 года царица Мария Ильична родами померла. Вместе с дочкой новорожденной. В январе 1671-го государь батюшка с матушкой свадьбу сыграли.

Да нет, по обычаю, никто бы и слова не сказал, кабы не детки Милославские. Вон их сколько народилось! Да еще постарше государыни матушки. Ох и взвились, матушка говорила. Только что в ногах родителя скопом не валялись, а уж об оговорах и толковать нечего — их в преизбытке было.

Они крутые, нравные, так ведь не в царицу Марью Ильичну, безгласную да безответную — в нашего батюшку. Вон его Тишайшим звать стали, а на деле?

Все знали, не по любви взял Марью Ильичну. Не по любви. Любовь его первая стороной прошла: боярин Борис Морозов постарался. По его расчетам Милославские ему, боярину, больше с руки были.

А дальше что гадать — какая там радость. Что детки один за другим пошли, так какому мужу не надоест, коли жена всегда на сносях. Да и с детьми, если разобраться, морока одна. Первенец, царевич Дмитрий, два годика прожил. За ним две дочки, спасибо, терема просторные в Кремле. Царевича Алексея Алексеевича дождались, батюшка нарадоваться не мог. Народу наследника объявил. Сгорел в шестнадцать лет. Как свечечка восковая на сквозном ветру...

Между тем до следующего царевича — Федора Алексеевича — в теремах еще четыре царевны прибавились: Анна, Софья, Катерина, Марья. Вон две последние по сей день живут, к брату не знают как подольститься. Марья и вовсе морским путем в заграничные вояжи пускается — водами лечиться, раз государь Петр Алексеевич всякими балуется. Знает государь, что и аманта имеет, да ему никакой разницы. Даже проглядел, что и с царевичем Алексеем Петровичем якшается. Слухи пошли, в деньгах племянничку не отказывает. Полагать надо, на всякий случай — все не вечны. Престол никому еще века не прибавлял.

Федора Алексеевича тоже цинга одолела. С каких отроческих лет ноги пухнуть стали. Мало его видала, а от матушки слышать пришлось: как тростинка на ветру в одеждах царских большого выхода. Под руки водили. Все норовил присесть. А уж встать сам никак не мог.

За ним еще царица Марья Ильична Симеона родила — в четыре года сгорел, а там и последыша — Ивана. Тут уж не здоровье — одни слезы горькие. То за сердце хватается — одышка одолевает. То ничего в рот взять не может — одной желчью бьет. То ног не передвинет — сколько сапог ему вспарывали, чтоб по вечерам разуть. Прасковья, супруга его, не то что жаловалась. Губу закусит, а слезы рекой текут. Обидно ведь: сильная, молодая, кровь с молоком. Проговорилась как-то после кончины мужниной: велел постельничему царицу в опочивальню к себе не пускать. То грех, то на молитве решил подольше постоять, то притомился.

Соврала, не он последышем был — Евдокия, что в одночасье померла. Царица в родильной горячке сгорела. Матушка государыня говорила: кровь у Милославских гнилая. Сестрица царицы от старого боярина Морозова и вовсе забеременеть не смогла. Взял-то ее боярин только чтобы в родню царскую войти. Как Федор Ромодановский.

Нет, князь Федор Юрьевич другое дело. И сына родил, и во всем, говорят, муж справный. Что пожилой — правда, так ведь и Настасья Федоровна в те поры от брака воздержаться могла. Только кто от Ромодановского откажется.

Хорошо, что на ум пришел. Человек верный. Может, для какого дела и пригодится.

Одного в толк не возьму: как с нашим-то дедом Кириллой Полуехтовичем все случилось. В стрелецком бунте майском 1682 года двух старших сыновей лишился. Дядюшку Ивана Кирилловича — Оружейной палатой

ведал — в куски изрубили, да и Афанасия Кирилловича тоже не помиловали. Деда насильно в монахи постригли и в Кирилло-Белозерский монастырь будто сослали.

Вот о чем Ромодановского бы спросить, почему в обители московской Высокопетровской на гробнице каменной вырезано, что помер Кирилла Полуехтович в 1691 году, тогда же там и похоронен. А бабка Анна Леонтьевна сразу после бунта облеклась во вдовьи одежды — иной ее и не видала. Указ царский видела — за именами братца и Ивана Алексеевича — село Семчино *вдове* Анне Леонтьевне отдать в вечное владение. В 1682 году — вдове! Годом позже она там строительство храма Петра и Павла затеяла. По рассказам. Сама там николи не бывала. Только сейчас задумалась: почему?

Семья вроде немалая, а государыня-матушка до конца одно твердила: «Трое нас, Натальюшка, трое — я, ты да Петруша». О братьях младших пеклась, а о родителях... Может, обида какая в ней жила? Уж какая, казалось, матушка государыня приветная, да только с нами. Мамка, пока жива была, твердила: «Так государыня во вдовстве переменилась. Ровно ледяной водицей умылась: застыла вся».

За Петрушу болела. Ох как болела. А вот про родителей ровно забыла. Если в душе и помнила, нам с Петрушей не говорила.

И еще вспомнилось. Всем имуществом семейным баба одна с самого начала распоряжалась. Будто не было уже деда в живых. Спросить, спросить надобно у Федора Юрьевича, что за оказия такая. У других нельзя: слухи пойдут. Грех на душу возьмешь.

Матушка государыня все о Высокопетровской обители пеклась. Хотела всех Нарышкиных в одних стенах собрать. Храм Боголюбской Божьей Матери облюбовала. А Петруша, как в силу вошел, конец хлопотам ее положил. Не по сердцу ему были. Да и то сказать, недосуг ему. Сама ему сколько лет твержу: «Матушка тебе все простит, был бы жив да здоров».

А матушке государыне, только теперь понимать стала, немногим легше, чем царице Марии Ильичне досталося.

Едва с батюшкой обвенчалась, 30 мая 1672 года братец народился. Едва год прошел, мое время пришло. Еще год — младшенький наш, Федор. Тут и срок государю подошел, а за ним и Федор Алексеевич прибрался, кончиной своей Милославских порадовал. Четырехлетний. Уже без государя-батюшки. И все одна, все без помощи. Откуда силы брались у родимой! Одна ей радость была — братец Петруша ее больше жизни любил. Для нее одной слова какие приветные сыскивал. Письмецо коротенькое, а за душу берет.

Радости государыня с кончины батюшки не видела. Иной раз днями губ не разжимала. Да и что скажешь. Вроде женила сына к сроку, а сколько у него лад в семье был? Года не прошло, Евдокия не потрафила, Монсиха объявилась. Внук родился, Александр Петрович, да сразу и помер. Алеша... И наглядеться на него не успела.

Никому не плакалась. Разве что самому братцу выговаривать принималась, да и отступалась. Что уж! Боялась, что и на нее рукой махнет, бывать перестанет.

Никак, опять силы оставлять стали. Как вода в песок, тело оставляют. Ослабла вся. Вон и пот с лица градом. Посоветоваться бы, да братец хворых не любит. Перетерпеть еще можно.

А Федору Юрьевичу человека спосылать — пусть приедет. Правду знать хочу! Правду — в чем мы с братцем виноваты. Исправить не исправить, а замолить, поди, еще можно. Детьми были: откуда нам знать?

Бабы еще до кончины государыни-матушки не стало. Едва-едва успела храм в Семчине отстроить, колокол большой в поминовение деда и всех родных отлить. Все дяде Льву Кирилловичу отошло. Да и он не зажился. До сорока лет не дотянул — прибрался. Вдова-то его недолго печальные одежды носила — тут же под венец с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым пошла.

Чего только на ум не взбредет: не потому ли братец о браке их хлопотал, что хотел Бориса Петровича утешить? Все говорили: больно о своей портомое убивался — по Марте. 1705 год шел. Она-то уже тогда у меня жила, скромница наша. Братца дожидалася. Никому сорочек его стирать не давала: хочу, мол, чтоб моими руками все. Одно слово, портомоя.

Господи, устала до чего. Пойти прилечь, чтоб не видел никто. Долго ли еще скрывать удастся... Может, и недолго.

Уходить... Уходить пора... Чего уж дальше себя обманывать. День ото дня тяжелее достается. Вроде иной раз отлежишься, глаза откроешь, солнышко приветишь... ан нет, не отпускает тяжесть проклятая. Оглянуться не успеешь, опять навалилась. В ушах звон. Голова ровно свинцом налитая. Болеть не болит — забыть о себе не дает. Встанешь, коленки подкашиваются. В пору на каждом шагу за стенки хвататься.

Собирался Петруша, сказала: «Может, не увидимся больше». Отмахнулся. Шуткой сбыл: «А кто ж это, акромя тебя, сестрицы богоданной, ждать-то меня здесь будет. Кто мне навстречу выйдет, хлебом-солью поклонится?»

Ему всегда так. За матушкой недоглядел. Ушла, тогда только и ахнул. Да и надолго ли кручина на него пала. Делами занялся, передо мной вроде извинился. На Азов умчался, в Воронеж, а там и по Европам кататься отправился. Надо ли было? Вон как Федор Юрьевич и по сей день сомневается. Говорит, один Господь и спас от порухи. Недалеко было царевне Софье до власти. Кабы не любовь ее к князюшке безоглядная, кто знает, как бы все обернулося. Любить в нашей семье все умели. Что себя, что Господа забывали. А уж Петруша...

Хотела ему про Монса сказать. Упредить. Все видели, как Катерина на него глаз положила. Совсем крыться перестала. Проста-проста, а тут, гляди, сообразила. Мол, только для того красавчика имением своим управлять поставила, что Петруше память о сестре. Мол, знаю, не сумел забыть Монсиху. Где там! Да я-то супруга покорливая, покладистая. Пусть вспоминает, сердечушко свое тешит.

С тем и ко мне приехала. В глаза заглядывает. Речи умильные ведет. За время, что сидела, не один раз огнем полыхнула. В сомнении была: поверю ли, чего государю не скажу ли.

А что тут скажешь? Уезжают ведь. Может, и впрямь охолонет баба. От дури отойдет. Зря только братца переполошишь. Мир в семействе замутишь.

Мир... И то верно, нелегко Катерине. Братец себе ни в чем пределу не кладет. Катерина Катериной, а кругом... Господи прости. Выговаривать ему никогда не выговаривала. Разве забудешь, что на том у них с матушкой любовь да совет порушились? С матушкой! А сестра что ж? Раз уйдет, да и не возвернется, и тогда старой девке царевне какая при дворе судьба. На вид чего захочешь, то и исполнит, на деле...

Опять в глазах потемнело. Кашель. Кашель бьет. Дохтур сказал — от сердца. Наклонишься ли низко, повернешься, тут бить и начинает. От капель проку никакого. Что пей, что не пей. Тошно... День ото дня тошнее... Стащиться с постели силушки нету. Дохтур твердит: надо, непременно надо кровь разгонять. Теперь, видать, не разгонишь.

О театре и думать перестала. Ровно не было его. Никогда не было. Вон кладовые от платья ломятся. Сукон одних сколько написано. Зала, кажись, войди — оживет. Люстры зажгутся. Актеры загалдят.

Нет! Слышать не хочу! Сколько времени неведомо зачем тратила. Сама себя обдурить хотела. Знала, не увидеться больше с Корнеем. Ничего кроме не надо. Разочек бы услышать, как по покоям идет — ровно летит: каблуки еле-еле перестукивают. В поклоне чуть не до полу наклонится: «Госпожа курфюрстина...» По-нашему выучил.

Портрета не списал. Братец решил: ни к чему. Сватать сестры за море не собирался. Другое дело — племянненки. Всех девчонок Прасковьиных

переписал. В жемчугах да горностаях. Быстро так. Споро. Постарше сделал, чтоб за невест сошли. А сам к «госпоже курфюрстине» без дела приезжал. Сколько историй рассказывал. Слышишь голос его, а в чем дело — не доходит. Как феникс птица поет-завораживает. Встряхнешься, вопрос какой невпопад задашь, он не удивится. Будто иначе и быть не может. Будто так и надо.

На голландский перешел. Может, и не все понятно, зато прислуге невдомек, о чем толк, сплетен меньше.

Ни разу ни о чем не просил. Только вот осведомился, не мог ли бы он портретным мастером при дворе курфюрстины остаться. Так повсюду в Европе принято. О жалованье не заикнулся. Вскользь сказал, книгу бы здесь о России писать стал. Гравюры сделал.

Да разве это «госпоже курфюрстине» решать? На то государь есть. Заговорила было, без малого не оборвал Петр Алексеевич. Мол, нужды нет. Свои художники подросли, в деле наловчились. А двор, мол, сестрица, заводить тебе — траты велики. Вон война идет, и так денег не напасешься.

Господи, Господи, ну к чему эти мысли проклятые. Теперь-то уже все равно. Петруша обещал из Европы книгу Корнея привезти. Забудет. На обещания что матушке, что сестре всегда скор был, а что до дела — разве за смертью посылать.

— Государыня царевна, гость к тебе. Князь Ромодановский спрашивает, принять изволишь ли. Сама за ним посылала.

Посылала. Верно. Только нужен ли разговор этот? Может, и без него бы обошлось. Одряхлел князь-кесарь. От былого молодца и памяти нет...

— Так что же прикажешь, царевна? Звать ли?

— Зови. Зови. Постелю только поправь. Волоса убери. Негоже так-то...

— Государыня царевна, как ты, матушка? Приболела, сказывают.

— А ты и не заметил, Федор Юрьевич, что нигде не бываю.

— Как заметить, коли сам дома отсиживаюсь. С той поры, что государь в вояж отправился, домашними делами занимаюсь. Да и дел-то настоящих уже нету. Откуда им на старости лет взяться. Вот, может, тебе, царевна, еще сослужить службу смог бы. Недаром ведь у государя апшиту просил.

— Скажи ты мне, Федор Юрьевич, была ли братцу нужда в дальние края пускаться. Сердце у меня не на месте. Вроде и времена иные, чем двадцать лет назад, и врагов былых в живых не осталось, а все как державу на произвол бросать. Кому верить, на кого положиться можно?

— Положиться, говоришь, царевна. Да ни на кого. На то и двор царский. Здесь каждый ради выгоды своей предать может, лишь бы цену за то достаточную дали.

— А я о чем? Да и есть у государя особенность такая — знает, что с плутами дело имеет, да все полагает, что непременно перехитрить их сумеет. Его верх будет.

— Какого ответа от меня, царевна, ждешь? Каждый из нас свое знает, только государя даже тебе не переговорить.

— Мне? Смеешься, князь. Мои времена когда еще прошли. Никто Наталья Алексеевна для государя. Коли на то пошло, к царице Прасковье скорее заедет, чем к сестре. Никогда перед братом не стелилась. Да ведь и ты тоже.

— Сама, Наталья Алексеевна, сказала.

— Сама, сама. Всегда правду-матку резал, а оно с годами государю нашему меньше по вкусу приходиться стало.

— Опять же, государыня, твой суд.

— Мой. Да вот что мне покою не дает. По мне куда для братца покойней было, пока с Катериной не венчался. В грехе жил, знаю. Да только меньше ли после того греха-то стало, а безопасности — куда меньше.

— Что в мыслях у тебя, царевна?

— А то, что снова Монсы при дворе хороводы водить начали. С чего бы это Вилима правителем над всем царицыным имуществом ставить? В па-

мять сестрицы незабвенной? Али тут уж по новой все пошло? Не верю я Катерине, не верю, и все тут. Еще вроде дела никакого нет, а уж слухи поползли. Ты-то знаешь, кто Вилима вытащил да представил?

— Александр Данилыч, кто же еще.

— А он ведь который год под следствием, не так разве?

— Так. Говорил я государю: либо оправдай, либо осуди. А то ни рыба ни мясо. И другим получается то ли в науку, то ли, того хуже, в прямое поощрение.

— И что государь ответил? Отшутился?

— Отшучиваться не стал. Так, мол, ему сподручнее светлейшего в шорах держать.

— Да зачем ему? Зачем, скажи на милость?

— Больно, мол, ловко с делами управляться умеет. Что ни поручи, все сделает. А что половину прикарманит, так это с него в каждый момент срезать можно.

— И ты поверил?

— Поверил не поверил, не я государь, не мне державой править.

— Не случайно тебя спросила, князь, про веру. Не в ловкости Алексашкиной дело — в бабах. Это они резоны брату представлять умеют — что Катерина, что Дашка Арсеньева, а Дашка с любым мужиком потягаться может и за своего светлейшего голыми руками задушить тигру лютую может.

— Спорить, государыня, не стану.

— Так к чему я клоню. Катерина как под венец пошла, а того больше — государыней именоваться стала, о старых привычках вспомнила. И не спорь со мной, Федор Юрьевич. Сама баба и бабьи мысли насквозь вижу. Не замечал, что ли, как Алексашка стал молодых кавалеров к царице подсаживать? Все невзначай да ненароком, а на деле с еще каким расчетом. Он же ей, не иначе, нашептал, что, мол, теперь государь ее как старую рукавицу с руки не скинет — можно себя в былой строгости не держать, душеньку отвести.

— Ну, соглашусь я с тобой, царевна, а дальше что? Не для сплеток звала ты меня, знаю.

— Твоя правда, не для сплеток. Тут дело такое, не знаю, как и сказать.

— Что с тобой, царевна? Как плат белый стала. Водицы тебе аль дохтура кликнуть? За прислужницей дай схожу.

— Сядь, князь. Сядь. Ничто мне не поможет. Кончаюсь я, вот что. Срок мой подошел.

— Государыня! Наталья Алексеевна! Что еще за срок такой? Не иначе бредишь, царевна! Тебе-то в самом расцвете сил — да кончаться! Как только слово такое вымолвила!

— Срок какой? Позабыл, чай, сколько матушке царице Наталье Кирилловне было, когда от нас отошла? Сорок три, князь. Ровно столько и мне исполнилось. А уж какая болезнь подступила, не все ли равно: смерть причину найдет.

— Господи, царевна...

— Сам сочти: в 1651-м матушка родилась, в 1693-м ее не стало. А царевна твоя в 1673-м на свет пришла, вот в 1716-м ей и срок подошел за матушкой отправляться.

— Наталья Алексеевна, государыня, ты не о себе — о государе подумай. Каково-то ему без тебя будет.

— Вот и хотела тебя, князь, просить приглядеть за ним. Поостеречь. Хворый он, Федор Юрьевич, куда какой хворый. Нешто зря по водам всяким разъезжает, в воду простую верить стал. А тут — ни сына-наследника, ни жены верной. Все ровно тараканы за печкой — шуршат, шуршат, вынюхивают, выгоду свою ищут. Нешто не видишь: светлейший в силу входит, да не по государевой воле? Мало у него сторонников, что ли? Кого хошь купит, за ценой не постоит.

— Мне приглядеть? Мне, государыня? Про годы мои позабыла, Наталья Алексеевна, Господь с тобой. Восьмой десяток князь-кесарь разменял. На тридцать лет тебя старше, царевна. На тридцать, шутка ли!

— Старый дуб крепше молодого бывает, князь.

— Бывает, да не всегда.

— Знаю, нелегкую жизнь ты прожил.

— Не про то я, государыня. Прожито — пролито, и вспоминать нечего. Только что грехи замаливать.

— Какие у тебя грехи, Федор Юрьевич. По правде жил, ни тебе воровал, ни государю не лукавил.

— Я, царевна, про собор наш всешутейший да всепьянейший. За такой грех и хотел в обитель уйти. Сколько Господь веку даст, на молитве да в покаянии отбыть.

— Не твой грех — государев. Ему ты служил, его волю и творил. Ему в ответе быть.

— Нет, государыня, так меня не разгрешить. Каждый человек за каждое слово свое, за поступок неправедный сам отвечать должен. И говорить сейчас об этом не хочу. Тут другое. На твои слова ответить хочу. Ошибаешься, государыня, нынешнему Ромодановскому до былого не дотянуться. Было время, едва не каждый помысел государев знал, многим Петр Алексеевич с Ромодановским делился, советами не пренебрегал, а нынче если и нужен, так на одном позорище всепьянейшем. Поверишь, государыня, который год вина не пью. Вроде полон рот наберу, а там смотрю, где бы его, окаянное, сплюнуть. От государя с тем таюсь, да рано ли, поздно ли хитрость мою стариковскую разгадает.

— Нет, Федор Юрьевич, верит тебе братец, верит. Зря ты так про себя думаешь.

— Вино — ин Господь с ним. Кто из нас не грешен. А его только ты, государя нашего, оберечь можешь. Сама посуди, на что ему положиться? Алешка вишь какой фортель вывернул. Откуда только ловкость такая взялась. Да не мог он, не мог сам по себе эдакое удумать. Значит, его «собор да компания» не так уж и просты. Значит, стоит там за ними кто-то. Вот заговорила ты, государыня, о царевиче Алексее Петровиче, а нешто не мой грех и здесь есть? Был же я здесь, недоглядел. Государя и в мыслях не имел об эдаком бегстве упредить. Никогда Лопухиных в расчет не принимал.

— А нешто братец тебе царевича поручал? Нешто тебе его наказывал?

— Одно утешение, что и близко к царевичу не подпускал. Крепко серчал, что я за порядок в престолонаследии стоял. Хоть бы царица новая и родила сына, все равно младшего.

— Что ж ты, Федор Юрьевич, о нас-то, Нарышкиных, не подумал? В расчет нас не принял? Ведь мы с Петром Алексеевичем и есть те самые младшие, которых ты тут порицать решил. Разве не так?

— Не так, государыня.

— Это почему же? До нас от царицы Марьи Ильичны Милославской ни много ни мало тринадцать деток на свет пришло. Девок много, так и сыновей хватало. Иван-то все равно старше братца был. Вроде бы его право на престол.

— К делам старым вернуться хочешь, государыня? Твоя воля. Ты с того начни, что царица наша покойная Наталья Кирилловна венчанной супругой монарха после кончины первой супруги государя Алексея Михайловича стала. А Евдокию Федоровну государь наш хоть и отрешил от себя, жизни не лишал. Живет она насильственно постриженная, и, коли обстоятельства, не дай Боже, переменятся, сан монашеский с нее тут же снят будет. Сама знаешь, сколько брат ее Авраам Лопухин народу взгомонил, что быть его сестре царицей рано или поздно. Так зачем опять смуту в государстве разводить. Лопухины хоть и не больно знатные, а народ на бунт подбить сумеют. Тебе одной сказать как на духу могу: не любит народ нынешней царицы. Крепко не любит. Да и прошлое ее не за семью горами.

— Не любит братец Алешку.

— Жен законных не любят, да живут, а тут наследник. Когда на престол вступит, отца-то уж в живых не будет. Так, полагаю, и государь покойный Федор Алексеевич батюшку вашего не больно на престоле радовал. Все поперек старых правил шел. Что тебе волосья да бороды — стриги да брейся, что платье немецкое — носи в свое удовольствие. Да мало ли всего.

— При дворе толкуют: супруга его виновата, сам Федор Алексеевич на такое бы не пошел. Царица Агафья новомодницей слыла, каких поискать.

— Агафья, говоришь...

— Известно, ночная кукушка денную завсегда перекукует.

— С поговорками, известно, какой опор. Да только тут другой случай. Где это ты, государыня царевна, в роду своем тихих да покорливых встречала? Чтобы ради жениной дури весь народ баламутить?

— Так больно молодым был Федор Алексеевич.

— А сам покойный государь, батюшка твой Алексей Михайлович, многим ли старше был, когда на престол вступил? Нет, государыня, была в том царская воля, да и советников у молодого царя хватало. Не пьяницы какие-нибудь да сумасброды — люди просвещенные. Понимали, нечего государству Московскому от Европы все окна-двери на замки запирать. Чтой-то, государыня, опять не заслабла ли ты? Может, пойду я лучше, чем тебя разговорами пустыми тревожить? Какие такие неотложные дела, чтобы тебя, голубушку, томить?

— Нет, нет, погоди, Федор Юрьевич... Как знать, доведется ли опять так-то свидеться... О Петруше я... о Петруше...

— Печальница ты наша... Чем тебя успокоить могу, государыня? Как есть ничем. Покуда жив, служить буду государю безотказно, а какой век мне Господь положит, о том никто не ведом. Стар я, царевна. С каждым днем все труднее приходится. Ровно в возке в заднее окошко глядишь: все в даль синюю уходит, и вроде уж и не нужно тебе...

— Не смей, Федор Юрьевич, слышь, не смей... И так боязно мне. До того боязно. Иной раз сердце защемит... Обещай, князь: коли на то Божья воля будет, в последний путь проводить. Сам, князь, сам. Пусть порядок иной, а то моя воля, слышь?

— Все исполню, государыня, все как есть, ничего не упущу.

— И бумаги... бумаги мои... много их накопилось... все пиесы сочиняла... к себе забери... Никому чтобы... никому...

— Твоя царская воля, только не ко времени всполошилась ты, государыня царевна. Не накличь беду ненароком.

— Не понял ты, князь. Сейчас бумаги забери...

— Сейчас? Да статочное ли дело, царевна!

— Ты и с братцем вечно спорить готов. Только у меня на споры часу не остается. Нету его, времени-то. Поспеши, князь, успокой меня, поспеши...

— Государыня...

— Полно тебе, Федор Юрьевич... чай, не баба ты вытье разводить. На это у нас народу много найдется — только прикажи... А уж ты все по обычаю сотворишь, знаю...

— Надобно ли так, государыня? С умом не соберусь — ошеломила ты меня, Наталья Алексеевна...

— Надобно, Федор Юрьевич. Кабы государь здесь был, иное дело. Он всему голова и распорядитель, а так все растащут, во все руки загребущие, глаза распроклятые лукавые запустят. Разве нет?

— Не спорю, царевна, грех на душу не возьму.

— Вот и славно, князь. Не ошиблась я в тебе. Вон зголовье в углу видишь?

— Вижу, государыня.

— На стол поставь да раскрой. Письма там. Мало от живописца голландского.

— Понимаю, государыня.

— Пересчитай. Четыре их должно быть. Четыре...

— Посчитал. Четыре и есть.

— В огонь их кинь... Сей же час кинь. Больше в руки мне их не взять. Пусть никто не берет...

— Не пожалеешь, государыня? Отступит хворь...

— Нет, князь, уже не отступит. Да и ни к чему все это. Ни к чему. Жги, приказала... немедля... гореть не хотят...

— Бумага преотличная, государыня.

— Не в бумаге дело, князь... не в бумаге...

— Тебе лучше знать, царевна.

— Еще, еще золу помешай, чтобы ни уголочка, ни словечка не осталося... Знаю, о чем спросить хочешь. Сама про все скажу; случай выпадет, все государю сказать можешь. Ты с ним никогда не лукавил. А вот что в тех письмах, не знаешь. Открывать их не открывал. Вот и опять не соврешь...

— Царевна матушка...

— Что тебе, Степанида? Приказала же без зову не входить. Настырная какая...

— Царевна матушка, дохтур пришел. В аванкамере дожидает.

— Дохтур? А он к чему? Нешто я за ним посылала?

— Мы посылали, матушка, на нас грех, мы...

— Как посмели...

— Не серчай, государыня Наталья Алексеевна. Я твоих прислужниц сгоношил. Как же без дохтура-то? Припугнул, что государь вернется — страшным гневом осерчает.

— Своевольник старый...

— А покуда разреши откланяться, государыня. Боюсь, и так дохтур бранить будет, что засиделся старый хрыч.

— Прощай, Федор Юрьевич. Где-то теперь встретиться доведется. Бумаги, бумаги с собой возьми... Степанида, Стеша... покажи... распорядись... прощай, князь...

Вот оно чего сердце-то еще со вчерашнего дня заходилося у князя Федора Юрьевича.

Вот оно! Вот оно и случилось! Недаром сердце ныло. И на тебе...

С ранья из Посольской коллегии примчались: «Беда! Беда, князь. Поспешай в присутствие».

Спросил, дело-то в чем. Никакого ответа. Нарочный одно твердит, губы трясутся: «Царевич».

Царевич? Неужто что задумал? Откуда бы время взял? Всегда под присмотром, всегда в пьяном соборе. Да и труслив, ой как труслив. Это ежели только Авраам Лопухин под белы ручки подхватит да насильно поволочет. Так о Лопухине никто не докладывал. Шуметь и впрямь братец отрешенной царицы Евдокии Федоровны горазд — только в Москве, не в новой столице. Пути-дороги ему сюда закрыты.

В коллегии двери нараспашку. Приказные кто мечется как угорелый, кто по углам шепчется.

— Князь Федор Юрьевич! Ваше высокопревосходительство! Вашему Преображенскому приказу вступаться следует, за розыск приниматься.

— Приниматься, нет ли, сам решу.

— Царевич Алексей Петрович сбежал!

— А бежать-то ему куда?

— За рубеж, князь, прямиком за рубеж. Оглянуться не успели, а уж за его возком все колеи снегом замело, запорошило.

— Кто разрешил? Кто дозволил? Да как вы все...

Знал, быть беде. Знал, ни одна поездка государева, ни один вояж европейский добром не кончится. Говорил же ему...

Бранить наследника бранил. Слова доброго для него отродясь не сыскивал. Грозился чем только мог. Сам бы Алексей Петрович такого не удумал. Вот оно где Авраам Лопухин о себе заявить сумел, впрямь лопухинское семя проклятое.

— Толком-то кто расскажет, нет ли? Да хватит вам всем перед глазами мельтешить!

— Мы уж тут, ваше высокопревосходительство, курьера собрались к государю посылать.

Вона прыть какая! А что говорить да как, о том и не подумали. Правда — она, может, государю, и нужна, зато от подливки наши шкуры зависеть будут.

— Обождет ваш курьер. Докладывайте: как поезда царевичева не заметили, как на дороге не задержали, куда направился.

— На Данциг направился. Двумя возками. Все решили, за государем.

— За государем?! Да как такое в голову прийти могло? Почему за государем?

— Сам знаешь, князь, слухи не первый день ползли: непременно государь царевича к себе вызовет, чтобы новую невесту ему подыскать, от полюбовницы оторвать.

Вон оно что! Были слухи. Без подтверждений. Просто слухи. Мол, не иначе государь решит царевича пристроить, коли сразу в монастырь не определил.

В монастырь до конца поездки никого бы государь не послал: нечего перед государями европейскими позориться. И так с покойной кронпринцессой не все уладилось. Как-никак родная сестрица императора венского — тут уж шутки плохи.

А сватовство, когда полугода от кончины кронпринцессы не прошло, и вовсе ни к чему. Не так такие дела делаются. Да как им, крючкотворам, объяснишь?

— Откуда о государе разговор пошел?

— От государя царевича. Сам на заставе так ответствовать изволил. Кто б ему не поверить осмелился.

— По какой причине сразу не доложили?

— Так сумнения никакого не было. Не слуга какой караульному офицеру отвечал — сам государь царевич.

— Один ехал? Девки-чухонки с ним не было?

— Если и была, офицер не заметил. Нешто мыслимо ему весь возок досматривать. Так только через окошко и поговорил с царевичем. Тот расстроенный такой. Бледный.

— Известно, с перепугу. Как только чувств не лишился. Дорогу проверить надобно: куда взаправду поскакал.

— Да вроде и впрямь на Данциг. Так и лошадей велел на подставах готовить.

— На государевых лошадях, выходит, помчался.

— А может, и впрямь, князь, какое письмецо от государя родителя получил? Не все же до нас доходит.

— Коли так бы было, объявился бы, сказался. Обозу достойного потребовал. Как это можно, чтобы наследник престолу в двух дорожных возках в Данциг прискакал, когда там правящие особы со всей Европы свадьбу гуляют.

— Так ведь отгуляли уже, ваше высокопревосходительство.

— Верно. Уже отгуляли. Выходит, и государя там нет...

Адъютант вбежал, только что на пороге не растянулся.

— Ваше превосходительство, Федор Юрьевич, нарочный от государя!

— Насилу дождался! Что так долго не был?

— Господин генералиссимус, как штафет получил, ни единой ночи не спал — все в пути. Едва успевали на подставах лошадей менять.

— Откуда путь держишь?

— Из Пирмонта, господин генералиссимус. Городок маленькой, только что чистый, прибранный. Господа туда только на лечение водами целебными приезжают.

— И давно там государь?

— Поди, месяц как лечиться изволит — курс проходить.

— Домой не собирался?

— Разговору такого не слыхивал.

— Так и остался на водах-то этих?

— Похоже, что так. Алексей Васильевич Макаров обмолвился, что путь держать собираются в Ганновер.

— Снова?

— Так Алексей Васильевич высказывался.

— А далее?

— Будто бы в Шверин и Росток. В Ростоке к государю государыня царица присоединиться собиралась.

— Ишь ты. А государыня царевна погребения своего ждать будет. День за днем. Как собака бездомная. Прости Господи меня, многогрешного.

Знал — это конец. Его конец. Князь-кесаря. Первого российского генералиссимуса.

Доклад о царевиче государю самый что ни на есть подробный написал. Розыск провел. По дням. По минутам. Кого за что и как казнить.

В ответ ни слова. Понял: все государь возрастом князь-кесаря объяснит. А простить да к былому вернуться нипочем не сможет. И так год от года от дел отстранять стал, а тут царевич...

Не иначе из-за конфуза такого дипломатического решил в государствах европейских задержаться. Чтобы все монархи его перед глазами видели. Со всей свитой. Со всем богатством. На всех переговорах.

Последняя обида князь-кесаря

Москва плавилась в зное. Августовском. Последнем. Ночами начало холодать. Утром трава отпотевала крупной росой, ровно льдинками. Припадала к земле до первых солнечных лучей. Тревожилась: то ли отогреется, то ли ляжет под осеннюю морось снега ждать. Зато с восходом солнышко быстро набирало силу. На галерейке, что от палат к церкви ведет, как рано ни встань, благодать. Сенной дух стоит тягучий, дурманный, даром что от кремлевских ворот рукой подать... Поденный колокол у Старого Вознесения лениво отзывается — не торопит. Ударит — и обождет: сам себя слушает. Так бы с места и не сходил, с мыслями своими не оставался.

В горницу вернулся — завтракать пора. Парфен глаза отводит. Присмотрелся: руки дрожат. Квасу толком налить не смог — расплескал. Брат молочный, кормилицын сын... Всю жизнь рядом. Вместе и на покой собрались, да вот поди ж ты незадача какая. Не за себя — за князя своего душой болеет. В толк не возьмет, как такое случиться могло. Государь ли Петр Алексеевич его боярина Федора Юрьевича не уважал, за себя доглядывать за всем государством оставлял, почести царские даже в грамотках оказывал, а в последней воле, самой главной, для души единственной, отказал. Да что отказал — насмеялся! Над князем Ромодановским!

— Ох, Федор Юрьевич! Ох, батюшка! Да ты бы...

— Опять за свое, Парфен!

— Да ведь нельзя такого допустить, тебе-то!

— Никни, сказал. И чтоб мне ни слова больше.

— Неужто заробел ты на старости лет? За себя постоять не смог? В шуты пойти согласился!

— Вон!

— Правду на глотку не возьмешь, Федор Юрьевич. Да что я! Никак, наш Иван Федорович приехал. Не иначе с нашими вестями — на крыльцо бежит, лица на нем нет. Ему-то что, родитель, говорить будешь? Как себя извинять?

— Государь-батюшка, мне сейчас такое услышать довелось, что летел к тебе без души...

— А здороваться, князь Иван, кто будет? Перед образами поклон класть? Перед отцом?

— Виноват, батюшка, как есть виноват, только...

— Опять остановиться, Иван Федорович, не можешь. Скинь кафтан, к столу садись. Когда разрешу, тогда и поговорим.

— Стыд один, государь-батюшка, тебе сплетки московские привозить, да больно обидно показалось — удержаться не могу.

— Отец велит, значит, удержишься. А тебе, Парфен, что за нужда тут быть? Ступай с Богом. Понадобишься, кликну. Ступай, сказал! А теперь по порядку все и выкладывай. Где был, зачем ездил, какие сплетки подобрал, сорокой на хвосте принес. Еды-то какой-никакой отведай. Охолони маленько.

— Какая там еда! Скажу, батюшка, сам поймешь...

— Или не пойму — и так бывает.

— В Симонове, в Симонове я был.

— В обители? По какой такой причине?

— Ты же сам, государь-батюшка, говорил, что в Симонове поселиться решил, постриг принять. Вместе с Парфеном. Так я землю под келейку сторговал, чтоб получше да попросторней. Угодить тебе хотел. Есть там такое местечко — Москва как на ладони, река к Китаю да Кремлю вольно да широко разворачивается. А кругом поля, луга, деревни — глаз не оторвешь.

— На чем же сторговались с игуменом-то?

— Да как бы я посмел, государь-батюшка, без твоего изволения. Я и словом не заикнулся — настоятель сам догадался.

— Все-таки догадался, значит. И что же?

— А то, что завел он меня в свои покои, угощать принялся да расспрашивать о нашем житье-бытье, а там возьми и скажи: зря, мол, ты, князь Иван Федорович, о черном клобуке для батюшки хлопочешь. Ему-де брачный венец больше по мыслям пришелся. Какой такой, говорю, брачный венец? О чем ты, владыка? А он журить меня принялся, что двоедушничаю с духовной особой, что сказать не хочу, когда у батюшки моего свадьба, а там, глядишь, и с новым наследничком поздравлять можно будет. Я в спор, а он как есть распалился. Гляжу, и келейники его посмеиваются. Как из настоятельских палат выскочил, как сюда примчался, уж и не помню. Помыслить не могу, с чего это владыка такую обиду Ромодановским измыслил, на посмешище выставил.

— А я что тебе говорил, князь-батюшка?

— Опять ты, Парфен! Что муха осенняя: не отвяжешься.

— И Парфен тоже? Ничего не понимаю.

— Да что тут понимать, Иван Федорович, батюшка твой государю поклонился, чтобы от мирской жизни уйти, а он...

— Не от Парфена же тебе новости, сын, узнавать! Государь отставки Ромодановского не принял, в пострижении наотрез отказал и просватал твоего отца с князь-игуменьей.

— Что-о-о?!! Князя Ромодановского?

— А батюшка твой, князь Иван Федорович, как баран на резь приготовился, словечка противного не сказал.

— И это правда, батюшка?

— Правда. И толковать больше не о чем.

— Но почему, почему, князь-батюшка? Нет у меня права ничего с тебя, родитель мой, спрашивать, только Христом Богом прошу, объяс-

ни, почему согласился. Мне ж теперь тоже придется вместо матушки мачеху привечать, в родительских хоромах к новой хозяйке привыкать.

— Видишь, государь-батюшка, прав был твой Парфен. Так или иначе, ответ тебе держать надо. Хоша перед сыном родным да единственным.

— Перед сыном, говоришь. Забыл, видно, что ни в чем сын отцу не указ, не судья. Федор Ромодановский перед одной совестью своей да Господом Вседержителем в ответе.

— А государю покорился! Мало что от двора государева отойти не смог, так еще на старости лет дьяческую вдову под венец вести согласился. То-то будет княгинюшка! То-то честь дому древнему да всеми почитаемому окажет! Была бы девка раскрасавица, первоцвет алый, тогда почему бы годы молодые не вспомнить, а тут крынка битая, во все печи саженная.

— Парфен!!!

— Что «Парфен»? Кто, акромя Парфена, тебе всю правду выложит, за тебя как за самого себя поболеет? Нету моей силушки на позор такой глядеть. Нету!

— Вот Парфен все твои мысли и выложил, Иван Федорович. Что молчишь? На себя гнев родительский решил принять, а ты и рад-радешенек?

— Да я, государь-батюшка...

— Лучше молчи, Иван. Целее будешь.

— Молчи, молчи, Иван Федорович. Над тобой-то батюшка скомандует, а вот как с языками людскими справится? Как по улице ездить станет, по своему боярскому двору мимо челяди да дворни проходить? Государю Петру Алексеевичу что — лишь бы спесь свою, прости Господи, тешить: в чужое ли платье кургузое рядить, пропойц ли славить. Так ведь не принял ты, Федор Юрьевич, бесовского его порядка. Для тебя одного Петр Алексеевич правилом своим поступился — ходи в платье исконном, дедовском хошь у себя дома, хошь на куртаге. А здесь что? Силу ты, князюшка наш, потерял али что? Дьячью вдову в дом принять! Может, и свадьбу играть в чистом поле, промеж сел Семеновского да Преображенского будем? Скоморохов пригласим? Там уж место обжитое — не одна шутовская свадьба там играна. У местных, поди, местечки по всей округе разобраны: царскую забаву во всех подробностях разглядеть.

— Сколько вместе прожили, а не знаешь ты, Парфен, моего гневу, ох не знаешь!

— Я не знаю! Может, и так. Зато вся Москва знает, каково оно к князю Ромодановскому в пыточный застенок попасть. Уж и Малюту Скуратова поминать перестали. Где ему, бедолаге, с нашим князем сравняться. Там-то, над бессильными, к дыбе притороченными, ты горазд нрав свой показывать. А тут самого себя отстоять не можешь! Да кто он такой, государь Петр Алексеевич, чтобы над Ромодановским шутки шутить! Стар ты стал, Федор Юрьевич, это верно. С годами не поспоришь, так ведь на Руси годы почитать положено, а то как Хам над родителем своим измывается! Благо ты все спустишь, как баран на резь пойдешь.

— Все! Поговорили! Все прочь! И ты, князь Иван, в другой раз приезжай. Может, что в твоей дурной головушке и прояснится. Ступай.

Прогнал... Только правду и впрямь не прогонишь. Где там! Все вроде рядом было, ан ничего больше нет. Да и нужды ни в чем тоже.

Дьячиха... Хмельная. Озорная. Облик божеский потеряла. Такую и в святую церкву ввести соромно.

Одна надежда — ненадолго. Того гляди, до девятого десятка дотянешь. Встанешь — закряхтишь, разогнешься — за поясницу возьмешься. Государь что твой ястреб — все примечает. Кривится. Да и дела у него другие пошли. Царицу Евдокию отринул, теперь на царевича замахивается. Все доказывать принимается: от потаскухи солдатской, мол, отродье куда для российского престолу лучшее будет. Лишь бы родила сынка. Родить-то, глядишь, и родила. Каков вырастет Петр Петрович, если на то Господь свое соизволение даст. Пока людям не кажут. Дохтуры не советуют.

А жизнь — ее всю перебрать можно. Где покаяться, где в зачет себе поставить. Ровно в речку с откосу прыгнуть. Холодную. Быструю...

Государь на разговор позвал. Веселый, злой.

— Женить тебя буде!

В груди захолонуло. А сказать — слов нет.

— Не надо бы, государь.

Будто не услышал:

— Все! Лучшей князь-игуменьи не найти! Да и искать нечего. Пусть всех нас Дарья Гавриловна потешает, а тебе супругой будет!

— Государь!

Опять не повернулся. Смеется — грозно грохочет. Даже башмаками по полу притоптывать стал:

— Виват князь-игуменья Дарья Гавриловна!

С духом собрался:

— Зачем так, великий государь...

Первый раз обернулся:

— Ты про что, князь-кесарь? Аль пара тебе не по сердцу пришлась?

— Не по сердцу, Петр Алексеевич.

— Статью, что ли, не вышла? Язычок не вострый? Ты прямо, князь-кесарь, говори, не стесняйся. Чего ж нам, сватам, и женишка не послушать.

— Забыл, государь, кому она родней приходится.

— Зачем забывать? Бунтовщику нашему Соковнину, кому ж еще!

— Не о нем я, государь. Что мне до Гаврилы Соковнина! Я про тетку ее родную. Про боярыню Морозову.

— Об этой-то лучше и вовсе не помнить, да ведь такую нешто забудешь. Боярыня Морозова!

— Государь, сам ты о раскольниках иное говорил. С терпением к ним велел воеводам на Севере быть. Разве нет?

— А помнишь ли, Федор Юрьевич, каково эта твоя страстотерпица матушку мою покойную унизила? Помнишь?

— Государь...

— Ее государь-батюшка на свадьбу прислал звать, а она посланцу на сапог плюнула. Слышь, Федор Юрьевич, плюнула! Мало что приходить на свадебный пир наотрез отказалася!

— Я о другом, государь. Из-за одной дуры Москву баламутить? Да стоит ли она того?

— Нужна она Москве!

— А кто ее, Москву, знает. Воду никогда баламутить не стоит, а уж тем более стоячую. Неведомо что со дна подыматься станет. Ты же сам, государь, Москве не больно доверяешь. А тут на тебе — посередь бесовского игрища. Ведь так в первопрестольной наш собор обзывают — да пьяная племянница страстотерпицы. Надо ли, Петр Алексеевич? Подумай Христа ради. Не торопись, только не торопись.

Князь Федор Юрьевич Ромодановский скончался 17 сентября 1717 года.

Вместо эпилога

После окончания курса лечения минеральными водами на курорте Спа Петр Первый выехал в Амстердам. Сентябрь провел в Берлине и Данциге, где еще раз попытался возобновить переговоры с городом по поводу алтаря Ганса Мемлинга «Страшный суд». 10 октября того же, 1717 года вернулся в Петербург.

Наследник российского престола царевич Алексей Петрович благодаря поддержке и покровительству императора Карла VI из Вены направился в Тироль, где 7 декабря 1716 года поселился в замке Эренберг.

6 мая 1717 года царевич Алексей Петрович переехал в Неаполитанский замок Сент-Эльмо, куда к нему приехали с тайной миссией от Петра Первого граф Петр Андреевич Толстой и граф Александр Иванович Румянцев.

Посланным удалось уговорить царевича Алексея Петровича вернуться на родину под гарантии сохранения ему жизни, свободы и права жениться на пленной чухонке Евфросинии Федоровне, к тому времени забеременевшей. Единственным условием брака было поставлено совершение его по переезде российской границы, дабы избежать «великого стыда». Согласие царевича было получено 14 октября 1717 года.

Фактически с того же дня царевич Алексей Петрович оказался под тайным арестом и был таким образом привезен в Москву.

Свидание отца с сыном произошло 3 декабря 1718 года. В результате него царевич Алексей Петрович был лишен права наследовать российский престол и передан следователям для «проведения дознания с пристрастием».

Из донесения тайного венского агента

Как Вы уже осведомлены моим последним донесением от 10 декабря (неделя понадобилась мне, чтобы собрать возможно более точные и беспристрастные сведения о случившемся), свидание принца Алексея с царем Петром оказалось крайне неудачным для наследника. Хотя при дворе существует мнение, что царь приступил к нему с заранее принятым решением о лишении принца всех прав и его заточении. Придворные сомневаются только в том, имелось ли в виду заточение тюремное или монастырское, с насильственным постригом в монахи.

Ходят слухи, что принц слишком резко начал обвинять царя в нарушении всех данных ему в Италии обещаний, и прежде всего о состоянии его любовницы и предполагаемой в будущем супруги. Само упоминание о ее беременности привело якобы царя Петра в неслыханную ярость, так что он немедленно отдал распоряжение об отправке принца в Петропавловскую крепость Петербурга для начала следствия.

Отдавая подобное распоряжение, царь Петр будто бы дважды посетовал на недавнюю кончину начальника Преображенского приказа князя Федора Ромодановского, который, по его словам, быстро бы «сладил это дело». В ответ на возражение князя Александра Меншикова, что князь Ромодановский мирволил принцу и мог оказаться небеспристрастным в ведении дознания, царь Петр, не остужая своего гнева, заявил, что князь-кесарь всю жизнь служил его, государевым, интересам и нуждам, и в помыслах не имея утверждать свои, как и обогащаться за счет государевой казны, — прямой намек на начатое против Александра Меншикова дело об огромных, как здесь говорят, растратах и хищениях, которые могут его привести, как и сибирского наместника князя Гагарина, на виселицу.

Одновременно началось следствие и по поводу всех приближенных принца, кто знал о его планах побега или даже готовил их. В то время как принц находится в крепости Петербурга, все его сторонники подвергаются допросам и пыткам в Преображенском приказе Москвы.

О судьбе любовницы принца — Евфросинии ничего до настоящего времени мне выяснить не удалось.

Из донесения тайного венского агента
Март 1718 года

Последняя новость в деле принца Алексея. Днями его сообщники и приближенные переведены из Преображенского приказа в петербургскую

крепость, так как, по словам царя Петра, Преображенский приказ без князь-кесаря потерял всякий смысл.

Ходят слухи о невероятной жестокости пыток, которым подвергаются подследственные. Эти же средства стали с настоящего времени применяться и в отношении принца Алексея. На удивление придворных, принц держится на редкость мужественно и не перестает настаивать на известиях о своей любовнице. Как сказал мне один из придворных, близких к графу Петру Толстому, уже одно это предрешает судьбу ее и ребенка, о котором никто не может сообщить никаких сведений — родился ли он или все еще находится в чреве матери.

Согласно журналам Тайного приказа, царевич Алексей Петрович начал подвергаться всем видам пыток с 19 июля 1718 года. 26 июня, в шесть часов пополудни, после очередного дня дознания, который обычно начинался в семь часов утра, царевич Алексей Петрович скончался.

Самым стойким среди современников утверждением было то, что, взбешенный собственным бессилием, Александр Меншиков удушил царевича. Подушкой.

Единственный сын князь-кесаря — князь Иван Федорович Ромодановский сразу после кончины отца был назначен государем Петром Алексеевичем на должность князь-кесаря всешутейшего и всепьянейшего собора. Никакой иной государственной службы не нес.

6 мая 1727 года умерла наследовавшая императору Петру Великому его супруга Екатерина I. На престол вступил 21-летний сын царевича Алексея Петровича — Петр II.

В ночь с 18 на 19 января 1730 года император Петр II скончался в Москве и, в отличие от других царствующих особ, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

В 1731 году умер сын Федора Ромодановского — князь Иван Федорович, не оставивший мужского потомства. Род Ромодановских прервался. Родовые вотчины Льялово и Дедевшино под Москвой унаследовала единственная дочь покойного — Екатерина Ивановна, графиня Головкина, внучка князь-кесаря.